

Марас  
Шевченко

Музыкант  
♦  
Художник

м. Шевченко

Шкільна бібліотека української та світової літератури

Тарас Шевченко  
**Музыкант. Художник**

«Фолио»

2015

ББК 84.4 УКР

**Шевченко Т. Г.**

Музикант. Художник / Т. Г. Шевченко — «Фолио»,  
2015 — (Шкільна бібліотека української та світової літератури)

ISBN 978-96-03-7045-6

До видання увійшли дві повісті Т. Г. Шевченка (1814—1861) — «Музикант» і «Художник», — написані ним російською мовою в Новопетровському під час заслання. Їх об'єднує тема тяжкої долі талановитого кріпака в суспільстві, де людей можна було купувати та продавати, наче худобу. Повість «Художник» — це автобіографічний твір, що розповідає про перебування Шевченка у Петербурзі й навчання в Академії мистецтв.

ББК 84.4 УКР

ISBN 978-96-03-7045-6

© Шевченко Т. Г., 2015

© Фолио, 2015

# Содержание

МУЗЫКАНТ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Тарас Шевченко

## Музикант. Художник. повісті

### МУЗЫКАНТ

Если вы, благосклонный читатель, любитель отечественной старины, то, проезжая город Прилуки П[олтавской] г[убернии], советую вам остановиться на сутки в этом городе, а если это случится не осенью и не зимою, то можно остаться и на двое суток. И, во-первых, познакомьтесь с отцом протоиереем Илиею Бодянским<sup>1</sup>, а во-вторых, посетите с ним же, отцом Илиею, полуразрушенный монастырь Густыню<sup>2</sup>, по ту сторону реки Удая<sup>3</sup>, верстах в трех от г. Прилуки. Могу вас уверить, что раскаиваться не будете. Это настоящее Сенклерское аббатство<sup>4</sup>. Тут все есть. И канал, глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водою из тихого Удая. И вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами. И бесконечные склепы, или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю, между огромными суховерхими дубами, быть может, самым ктитором насажденными<sup>5</sup>. Словом, все есть, что нужно для самой полной романической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера<sup>6</sup> или ему подобного писателя природы. А я... по причине нищеты моего воображения (откровенно говоря) не беруся за такое дело, да у меня, признаться, и речь не к то[му] идет. А то я только так, для полноты рассказа, заговорил о развалинах Самойловичевого памятника.

Я, изволите видеть, по поручению К[иевской] а[рхеологической] комиссии<sup>7</sup> посетил эти полуразвалины и, разумеется, с помощью почтеннейшего отца Илии, узнал, что монастырь воздвигнут коштом и працею несчастного гетмана Самойловича в 1664 году<sup>8</sup>, о чем свидетельствует портрет его яко ктитора, написанный на стене внутри главной церкви.

Узнавши все это и нарисовавши, как умел, главные, или святые, ворота, да церковь о пяти главах Петра и Павла, да еще трапезу и церковь<sup>9</sup>, где погребен вечная памяти достойный князь Николай Григорьевич Репнин<sup>10</sup>, да еще уцелевший циклопический братский очаг, – сделавши, говорю, все это, как умел, я на другой день хотел было оставить Прилуки и отправиться в Лубны осмотреть и посмотреть на монастырь, воздвигнутый набожною матерью Еремии Вишневецкого-Корибута<sup>11</sup>. Сложил было уже всю свою мизерию в чемодан и хотел фактора Лейбу

<sup>1</sup> Ілля Гаврилович Бодянський (1782 – 1848) – прилуцький протоієрей, батько історика, етнографа й видавця Павла Ілліча Бодянського (1809 – 1867).

<sup>2</sup> Густиня – село на р. Удаї, недалеко від Прилук. Виникло на початку XVII ст. біля Густинського чоловічого монастиря, що був заснований у 1600 р. афонськими ченцями.

<sup>3</sup> Удаї – права притока Сули.

<sup>4</sup> Місце дії роману «Ліс, або Сен-Клерське абатство», виданого під ім'ям англійської письменниці Енн Редкліфф (1764 – 1823).

<sup>5</sup> Шевченко вважав засновником Густинського Свято-Троїцького монастиря гетьмана Івана Самойловича, хоча насправді ця обитель була заснована 1600 р. ченцем Йоасафом.

<sup>6</sup> Вальтер (Скотт) (1771 – 1832) – відомий британський письменник, засновник жанру історичного роману.

<sup>7</sup> Ідеться про Тимчасову комісію для розгляду давніх актів у Києві, створену 1843 р. при канцелярії київського, подільського й волинського генерал-губернатора.

<sup>8</sup> Головний храм Густинського монастиря – Свято-Троїцький собор – будувався в 1674 – 1676 рр. на кошти гетьмана Самойловича.

<sup>9</sup> Шевченко має на увазі свої акварелі «В Густині. Церква Петра і Павла», «В Густині. Брама з церквою Св. Миколи Чудотворця», «В Густині. Трапезна церква» з альбому 1845 р.

<sup>10</sup> Микола Григорович Репнін-Волконський, князь (1778 – 1845) похований у склепі під Воскресенською трапезною церквою Густинського монастиря.

<sup>11</sup> Шевченко говорить про Мгарський (Лубенський) Спасо-Преображенський монастир, заснований 1619 р. коштом княгині Раїни Вишневецької (Могилянки) (1589 – 1619) – матері Яреми Вишневецького.

послать за лошадьми на почтовую станцию. Только входит мой хозяин в комнату и говорит: «И не думайте, и не гадайте. Вы только посмотрите, что на улице творится». Я посмотрел в окно – и действительно, вдоль грязной улицы тянулось две четырехместные кареты, несколько колясок, бричек, вагонов разной величины и, наконец, простые телеги.

– Что все это значит? – спросил я своего хозяина.

– А это значит то, что один из потомков славного прилуцкого полковника, современника Мазепы, завтра именинник<sup>12</sup>.

Хозяин мой, нужно заметить, был уездный преподаватель русской истории и любил щегольнуть своими познаниями, особенно перед нашим братом, ученым.

– Так неужели весь этот транспорт тянется к имениннику?

– Э! Это только начало. А посмотрите, что будет к вечеру: в городе тесно будет.

– Прекрасно. Да какое же мне дело до вашего именинника?

– А такое дело, что мы с вами возьмем добрых тройку коней да и покатым чуть свет у Дигтяри.

– У какие Дигтяри?

– Да просто к имениннику.

– Я ведь с ним не знаком!

– Так познакомитесь.

Я призадумался. А что в самом деле, не махнуть ли по праву разыскателя древностей полюбоваться на сельские импровизированные забавы? Это будет что-то новое. Решено. И мы на другой день поехали в гости.

Начать с того, что мы сбились с дороги. Не потому, что было еще темно, когда мы выехали из города, а потому, что возница (настоящий мой земляк!), переехавши через удайскую греблю, опустил вожжи, а сам призадумался о чем-то, а кони, не будучи глупы, и пошли роменскою транспортной дорогой, разумеется, по привычке. Вот мы и приехали в село Иваныцю<sup>13</sup>. Спрашиваем у первого встретившегося мужика, как нам проехать в Дигтяри?

– В Дигтяри? – говорит мужик. – А просто берить на Прилуку.

– Как на Прилуки? Ведь мы едем с Прилук.

– Так не треба було вам и издыть з Прилуки, – отвечал мужик совершенно равнодушно.

– Ну, как же нам теперь проехать в Дигтяри, чтобы не возвращаться в Прилуки? а? – спросил я.

– Позвольте, тут где-то недалеко есть село Сокирынці<sup>14</sup>, тоже потомка славного полковника. Не знает ли он этого села?

– А Сокирынці, земляче, знаеш? – спросил я у мужика.

– Знаю! – отвечал он.

– А Дигтяри от Сокирынець далеко?

– Ба ни!

– Так ты покажи нам дорогу на Сокирынці, а т[ам] уж мы найдем как-нибудь Дигтяри.

– Ходим за мною, – проговорил мужик и пошел по улице впереди нашей удалой тройки.

Он повел нас мимо старой деревянной одноглавой церкви и четырехугольной бревенчатой колокольни, глядя на которую, я вспомнил картину незабвенного моего Штернберга

---

<sup>12</sup> Идетсья про Петра Григоровича Галагана (1792 – 1855) – власника села Дігтярі Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер селище Срібнянського р-ну Чернігівської обл.), який був нащадком Гната Івановича Галагана (? – 1748) – чигиринського (1709 – 1713) та прилуцького (1714 – 1739) полковника.

<sup>13</sup> Іваниця – село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської обл.).

<sup>14</sup> Сокиринці – село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Срібнянського р-ну Чернігівської обл.), маєток Григорія Павловича Галагана (1819 – 1888).

«Освящение пасок»<sup>15</sup>. И мне грустно стало. При имени Штернберга я многое и многое вспоминаю.

– Оце вам буде шлях просто на Сокиринци! – говорил мужик, показывая рукою на едва заметную дорожку, блестящую между густой зеленой пшеницей.

Замечательно, что возница наш в продолжение всей дороги от Прилуки до Иваньци и во время разговора моего с мужиком все молчал и проговорил только, когда увидел из-за темной полосы леса крытый белым железом купол:

– Вот вам и Сокиринци! – и опять онемел. Это общая черта характера моих земляков. Земляк мой, если что и впадет сделает, так не разговорится о своей удали, а если, Боже сохрани, опростофилится, тогда он делается совершенной рыбой.

В Сокиринцах мы узнали дорогу в Дигтяри и поехали себе с Богом между зеленою пшеницею и житом.

Товарищу моему, кажется, не совсем нравилось такое путешествие, тем более, что он имел претензию на щеголя. (А надо вам заметить, мы были одеты совершенно по-бальному.) Он, как и возница наш, тоже молчал и не проговорил даже: «А вот и Сокиринци!» – так был озлоблен пылью и прочими дорожными неудачами. Я же, несмотря на фрак и прочие принадлежности, был совершенно спокоен и даже счастлив, глядя на необозримые пространства, засеянные житом и пшеницею. Правда, и в мое сердце прокрадывалась грусть. Но грусть иного рода. Я думал и у Бога спрашивал: «Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет?» Хотел было сообщить мой грустный вопрос товарищу – но, подумавши, не сообщил. Когда бы не этот проклятый вопрос, так некстати родившийся в моей душе, я был бы совершенно счастлив, купаясь, так сказать, в тихо зыблемом море свежей зелени. Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был повернуть, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем.

Так ли, сляк ли, мы, наконец, добрались до нашей цели уже перед закатом солнца. Не описываю вам ни великолепных дубов, насажденных прадедами, составляющих лес, освещенный заходящим солнцем, среди которого высится бельведер с куполом огромного барского дома; ни той широкой и величественной просеки или аллеи, ведущей к дому; ни огромного села, загроможденного экипажами, лошадьми, лакеями и кучерами, – не описываю потому, что нас встретила, перед самым въездом в аллею, бесконечная кавалькада амазонок и амазонов и совершенно сбила меня с толку. Но товарищ мой не оробел; он ловко выскочил с телеги и хватски раскланивался со всею кавалькадою, из чего я заключил, что он порядочный шутник. По миновании амазонок, амазонов и, наконец, грумов или жокеев, я тоже вылез из телеги, расплатился с нашим возницею, сказавши ему на вопрос: «Де ж я буду ночувать?» – «В зеленый диброви, земляче!» После чего он посвистал и поехал в село. А мы скромно пошли вдоль великолепной аллеи к барскому дому. Но чтоб придать себе физиономию хоть сколько-нибудь похожую на джентльменов, зашли мы в так называемый холостой флигель, отстоящий недалеко от главного здания, где встретили нас джентльмены самого неблагопристойного содержания.

Обыкновенно бывает, что люди после немалосложного обеда и нешуточной выпивки предаются сновидениям, а у них как-то вышло это напротив. Они скакали, кричали и черт знает что выделявали, и все, разумеется, в шотландских костюмах<sup>16</sup>.

Цынизм, чтобы не сказать мерзость, и больше ничего.

---

<sup>15</sup> За картину «Свячення пасок у Малоросії» Василь Штернберг, український і російський художник, вихованець С. – Петербурзької академії мистецтв, у 1838 р. був нагороджений золотою медаллю Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Штернберг був одним з найближчих приятелів Шевченка.

<sup>16</sup> Тобто без штанів.

Виргилий мой<sup>17</sup> добился кое-как умывального с водой и лоханки, и мы, в коридоре умывши свои лики и согнавши пыль с фраков посредством встряхиванья, отправились в сад в надежде встретиться с хозяевами.

Надежда нас не обманула. Мы вошли сначала в дом и, пройдя две залы, очутились на террасе, уставленной роскошнейшими цветами; спустившись с террасы и пройдя дорожкой, тщательно песком усыпанной, через зеленую площадь (из патриотизма называемую левадою), вошли мы в сад, к немалому моему удивлению, не в английский и не в французский сад<sup>18</sup>, а в простой, естественный дубовый лес, или в дуброву. И если б не желтые дорожки блестели между старыми темными дубами, то я совершенно забыл бы, что нахожусь в барском саду, а не в какой-нибудь заповедной дуброве. Виргилий мой подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне на стволе его небольшое отверстие вроде маленького окошечка, сказавши: «Посмотрите-ка в это оконце». Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел. «Посмотрите пристальнее». – Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде иконы Божией матери. И действительно, это была икона иржавецкой Божией матери<sup>19</sup>, как мне пояснил мой Виргилий, врезанная в этот дуб знаменитым прилуцким полковником год спустя после Полтавской битвы<sup>20</sup>.

Слушая пояснения сего исторического факта, я и не заметил, как мы вышли опять на леваду, где и встретили хозяина и хозяйку, окруженных толпою улыбающихся гостей своих.

Виргилий мой, довольно ловко для уездного преподавателя, расшаркнулся перед хозяином и хозяйкой, причем хозяин протянул ему покровительственно указательный палец левой руки, украшенный дорогим перстнем. Виргилий мой с подобострастием схватил его палец обеими руками и рекомендовал меня как своего друга и ученого собрата. Я в свою очередь тоже расшаркнулся, надо сказать правду, довольно по-ученому, то есть по-медвежьи, после чего толпа гостей увеличилась двумя членами.

Не описываю вам ни хозяйки, ни хозяина, потому что во время нашей аудиенции на дворе было почти темно, следовательно, подробностей рассмотреть было невозможно. А как ни будь хороша картина в целом, но если художник пренебрег подробностями, то картина его останется только эскизом, на который истинный знаток и любитель посмотрит и только головой покачает. И отойдет со вздохом к портретам Зарянка<sup>21</sup> восхищаться гербами, с убийственной подробностью изображенными на пуговицах какого-нибудь вицмундира.

Во избежание помавания главы знатока и любителя оконченных картин, я ограничусь только первым впечатлением, что, по мнению психологов, самая важная черта при изображении характеров.

Первое впечатление, произведенное на меня хозяйкою<sup>22</sup>, было самое приятное впечатление, а хозяином – напротив. Но это, быть может, указательный палец левой руки, так благосклонно протянутый моему приятелю, был причиной такого неприятного впечатления.

Веселая толпа гостей тихонько двигалась к дому, уже освещенному ярко внутри. А на террасе, между роскошными цветами и лимонными деревьями, только еще разноцветные фонари развешивали.

<sup>17</sup> Тобто провідник. Алюзія на першу частину «Божественної комедії» Данте.

<sup>18</sup> Ідеться про два напрямки садово-паркового мистецтва: 1) розроблений Андре Ленотром та його школою французький (регулярний, геометричний) парк і 2) англійський (пейзажний, іррегулярний, ландшафтний) парк.

<sup>19</sup> Іржавець (раніша назва: Ржавиця) – село Прилуцького повіту Полтавської губернії (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської обл.). Свого часу тут, у Троїцькій церкві, знаходилась чудотворна ікона Божої Матері.

<sup>20</sup> Врізана в дуб ікона, як свідчив Лев Жемчужников, була не в Дігтярях, а в Сокиринцях.

<sup>21</sup> Сергій Костянтинович Зарянка (1818 – 1871) – російський портретист, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Для його робіт характерна пильна увага до деталі навіть в аксесуарах.

<sup>22</sup> Прототипом цього образу була дружина Петра Григоровича Галагана Софія Олександрівна Галаган (уроджена Казаєва) (? – 1864).

Лишь только хозяин с хозяйкой вступили на террасу, как крепостный оркестр грянул знаменитый марш из «Вильгельма Телля»<sup>23</sup>, после марша сейчас же, не переводя духу, полонез, и бал начался во всем своем величии.

Некий ученый муж, кажется, барон Боде<sup>24</sup>, поехал из Тегерана к развалинам Персеполиса<sup>25</sup> и описал довольно тщательно свое путешествие до самой долины Мардашт<sup>26</sup>. Увидевши же величественные руины Персеполиса, сказал: «Так как многие путешественники описывали сии знаменитые развалины, то мне здесь совершенно нечего делать»<sup>27</sup>.

Я то же могу сказать, глядя на провинциальный бал, хотя мое путешествие не имело цели описания провинциального бала и не было сопряжено с такими трудностями, как путешествие из Тагерана к развалинам Персеполиса, да и сравнение, надо правду сказать, я делаю самое неестественное; да что делать, – что под руку попало, то и валяй.

Любую повесть прочитайте современной нашей изящной словесности, везде вы встретите описание если не столичного, то уж непременно провинциального бала, и, разумеется, с разными прибавлениями насчет нарядов, ухваток или манеров и даже самих физиономий, как будто природа для провинциальных львиц и львов особенные формы делала. Вздор! Формы одни и те же, и львицы и львы одни и те же, и ежели есть между ними разница, так это только та, что провинциальные львы и львицы немножко ручнее столичных, чего (сколько мне известно) списатели провинциальных балов не заметили.

Следовательно, все балы описаны, начиная от бала на фрегате «Надежда»<sup>28</sup> до русской пирушки на немецкий лад, где устьсысольские ребята немножко пошалили<sup>29</sup>.

И в отношении провинциального бала я могу сказать смело, что мне совершенно нечего делать, как только любоваться свежими, здоровыми лицами провинциальных красавиц.

Одно меня немного озадачило на этом бале, именно то, что не видно было ни одного мундира, несмотря на то, что в Прилуцком уезде квартировал стрелковый батальон. Не постигая сей причины, я обратился к моему Виргилию.

А Виргилий мой в эту самую секунду выделявал в кадрили па самым классическим образом.

Я терпеливо ожидал конца последней фигуры кадрили, а между тем разгадывал вопрос предположениями.

«Может быть, – думал я, – они того? Но нет, это профессия принадлежит более гусарам и вообще кавалерии, а ведь они пехотинцы, да еще с ученым кантом<sup>30</sup>. Нет, тут что-нибудь да не так». – В эту минуту кадрили кончилась, и вспотевший мой Виргилий подошел ко мне.

– А! каково пляшем! – проговорил он, утираясь.

---

<sup>23</sup> Идетсья про оперу італійського композитора Джоаккіно Антоніо Россіні (1792 – 1868), написану за сюжетом драми Фрідріха Шиллера.

<sup>24</sup> Климентій Карлович Боде – секретар російського посольства в Персії у 1850-х рр., автор подорожніх записок, які друкувалися в журналі «Библиотека для чтения» за 1854 р.

<sup>25</sup> Персеполь (Персеполіс) – місто, яке виникло в VI – V ст. до н. е. й було столицею імперії Ахеменідів, розташоване за 900 кілометрів на південь від Тегерана.

<sup>26</sup> Идетсья про долину Марвдашт неподалік міста Шираз, де збереглися руїни Персеполіа (Тахте-Джамшид).

<sup>27</sup> Думка Климентія Боде передана неточно. У другій статті під назвою «Путешествие в Луристан и в Аравистан» («Библиотека для чтения», 1854, т. 126) він писав про те, що може лиш побіжно розповісти про пам'ятки Персеполіа, оскільки для докладної розмови потрібно багато чого вивчити, до того ж він не має змоги тривалий час перебувати в Персеполі.

<sup>28</sup> Шевченко має на думці повість російського письменника Олександра Олександровича Бестужева (Марлінського) «Фрегат “Надежда”», яка розпочинається чималою картиною балу в Петергофі.

<sup>29</sup> Шевченко має на думці описану Гоголем у «Мертвых душах» «пирушку на русскую ногу с немецкими затеями», яку сольвичегодські купці влаштували купцям устьсисольським і яка закінчилася переможною для перших бійкою, після якої вони вибачились, сказавши, що «немного пошалили».

<sup>30</sup> Офіцери військових частин, служба в яких вимагала спеціальної освіти (артилеристи тощо), мали особливий («учений») кант на мундирі.

– Ничего, изрядно, – отвечал я рассеянно. – А вот что, – сказал я ему почти шепотом, – отчего это военных нет на бале?

– Их почти нигде не принимают, тем более в таком доме, как дом нашего амфитриона<sup>31</sup>. «Странно!» – подумал я. И, подумавши, спросил:

– А барышни ничего?

– Ничего.

– Таки совершенно ничего?

– Совершенно ничего!

В это время заиграли вальс, и ментор мой завертелся с какой-то аппетитною брюнеткой.

А я, протолкавшись кое-как между зрителей и зрительниц, т. е. между горничных и лакеев, столпившихся у растворенных дверей, вышел на террасу и думал о том, [что]

Мы подвигаемся заметно.

Бал был увенчан самым роскошным ужином и не спрыснут, не запит, а буквально был залит шампанским всех наименований. Меня просто ужаснула такая роскошь.

После ужина амфитрион предложил гроссфатер<sup>32</sup>, что и было принято с восторгом счастливыми гостями.

Гроссфатер начался и продолжался со всей деревенской простотой до самого восхода солнца.

Красавицы! особенно красавицы вроде героинь покойного Бальзака<sup>33</sup>, т. е. красавицы не первой свежести, не советую вам танцевать до восхода солнечного. Власть, утвержденная при свете свечей над нашим бедным сердцем, распадается при свете солнца, и обаяние, навеянное вами в продолжение ночи, сменяется каким-то горько-неприятным чувством, похожим на пресыщение. Но вы, алчные пожирательницы бедных сердец наших, в торжестве своем и не замечаете, как близится день и могущество ваше исчезает, как тот прозрачный туман, разославшийся над болотом.

Так думал я, оставляя веселый, непринужденный гроссфатер и пробираясь между дубами к нашему лагерю (гости не помещались в зданиях; разбивалось несколько палаток в конце сада, что и означало лагерь, или, ближе, цыганский табор). Приближаясь к палаткам, блестящим на темной зелени, я, к немалому моему удивлению, услышал песни и хохот в одной палатке. То были друзья-собутельники, предпочитавшие мирскую суету уединению, нельзя сказать совершенному. Я кое-как прокрался в свою палатку, наскоро переменял фрак на блузу и скрылся в кустах орешника.

Я не знал, что к саду примыкает пруд, и мне показалось странным, когда густые, темные ветви орешника стали рисоваться на белом фоне. Я вышел на полянку, и мне во всей красе своей представило озеро, осененное старыми берестами, или вязами, и живописнейшими вербами. Чудная картина! Вода не шелохнется – совершенное зеркало, и вербы-красавицы как бы подошли к нему группами полюбоваться своими роскошными широкими ветвями. Долго я стоял на одном месте, очарованный этой дивною картиною. Мне казалось святотатством нарушить малейшим движением эту торжественную тишину святой красавицы природы.

Подумавши, я решился, однако ж, на такое святотатство. Мне пришло в голову, что недурно было бы окунуться раза два-три в этом волшебном озере. Что я тотчас же и исполнил.

После купанья мне так стало легко и отрадно, что я вдвойне почувствовал прелесть пейзажа и решился им вполне насладиться. Для этого я уселся под развесистым вязом и предался сладкому созерцанию очаровательной природы.

---

<sup>31</sup> Им'я героя грецької міфології Амфітріона як гостинного господаря стало прозивним від часу появи комедії Мольєра «Амфітріон» (1668).

<sup>32</sup> Гроссфатер – старовинний німецький танець: хода журавля, після якої починається жваве скакання.

<sup>33</sup> Оноре де Бальзак (1799 – 1850) – французький письменник. Тут ідеться про роман «Жінка тридцяти років», з якого розпочалася літературна слава Бальзака.

Созерцание, однако ж, не долго длилось; я прислонился к бересту и безмятежно уснул. Во сне повторилась та же самая отрадная картина, с прибавлением бала, и только странно – вместо обыкновенного вальса я видел во сне известную картину Гольбейна «Танец смерти»<sup>34</sup>.

Видения мои были прерваны пронзительным женским хохотом. Раскрывши глаза, я увидел резвую стаю нимф, плескавшихся и визжавших в воде, и мне волею-неволею пришлось разыграть роль нескромного Актеона-пастуха<sup>35</sup>. Я, однако же, вскоре овладел собою и ползком скрылся в кустарниках орешника.

В одиннадцать часов утра посредством колокола сказано было холостым гостям, что чай готов (женатые гости наслаждались им в своих номерах). На сей отрадный благовест гости потянулись с своих уединенных приютов к великолепной террасе, украшенной столами с чайными приборами и несколькими пузатыми самоварами и кофейниками.

Не успел я кончить вторую чашку светло-коричневого суропа со сливками, как грянул вальс, и в открытые двери в зале я увидел вертящихся несколько пар. «Когда ж они навернутся?» – подумал я. И, сходя с террасы, встретил своего Просперо<sup>36</sup>, который сообщил мне по секрету, что сегодняшней вечер начнется концертом, чему я немало обрадовался, хоть, правду сказать, многого и не ожидал. Я, однако же, ошибся.

Вскоре после вечерней прогулки гости собрались кто в чем попало, т. е. кто в сертуке, кто в пальто, а кто держался хорошего тона или корчил из себя англomана, такие пришли во фраках. А о костюмах нежного пола и говорить нечего. Это уже всему миру известно, что ни одна, в какой бы степени ни была она красавица, не задумается раз двадцать в сутки переменить свой костюм, если имеет в виду встретить толпу, хотя бы даже уродов, только не своей породы. Прошу не погневаться, мои милые читательницы, – это не сочинение, а неопровержимый факт.

Гости собрались и заняли свои места, разумеется, с некоторою сортировкой: что покрупнее, выдвинулось вперед, а мелочь (в том числе и нас, Господи, устрой) поместилась кое-как впотьмах, между колоннами. Когда все пришло в порядок, явился на подмостках вроде сцены вольноотпущенный капельмейстер, довольно объемистой стати и самой лакейской физиономии. «Ученик знаменитого Шпора!»<sup>37</sup> – кто-то шепнул возле меня. Еще миг, и грянула «Буря» Мендельсона<sup>38</sup>. И, правду сказать, грянула и продолжала греметь удачно. Меня задел не на шутку виолончель. Виолончелист сидел ближе других музыкантов к авансцене, как бы напоказ (что, действительно, и было так).

Это был молодой человек, бледный и худощавый, – все, что я мог заметить из-за виолончеля. Соло свои он исполнял с таким чувством и мастерством, что хоть бы самому Серве<sup>39</sup> так впору. Меня удивляло одно: отчего ему не аплодируют. Самому же мне начинать было неприлично. Что я за судья, да и что я за гость такой? Бог знает что и Бог знает откуда. Что скажут гости первого разбора!

Между тем «Буря» кончилась, и я услышал произносимые вполголоса похвалы артисту такого рода:

– Ай да Тарас! Ай да молодец! Недаром побывал в Италии!

<sup>34</sup> Ідеться про серію малюнків німецького художника Ганса Гольбейна Молодшого (1497 – 1543) «Образи смерті» (або «Танець смерті»), створену в 1524 – 1526 рр.

<sup>35</sup> Згідно з грецьким міфом, Актеон під час полювання побачив Артеміді, яка купалася зі своїми німфами. Розгнівана богиня перетворила юнака на оленя, і його розірвали власні собаки.

<sup>36</sup> Шевченко говорить про персонажа трагікомедії Вільяма Шекспіра «Буря» (1610 – 1611).

<sup>37</sup> Людвіг (Луї) Шпор (1784 – 1859) – німецький скрипаль, композитор, диригент і педагог.

<sup>38</sup> Очевидно, Шевченко має на думці увертюру до комедії Шекспіра «Сон літньої ночі» – один із найвідоміших творів німецького композитора Якоба Людвіга Фелікса Мендельсона-Бартольдї (1809 – 1847).

<sup>39</sup> Адрієн Франсуа Серве (1807 – 1866) – бельгійський виолончеліст і композитор, якого називали «Паганіні виолончелі».

Пока оркестр строился, я успел узнать от соседа кое-что о заинтересовавшем меня артисте. Началась увертюра из «Прециозы» Вебера<sup>40</sup>. И я, к удивлению моему, увидел виолончелиста со скрипкою в руках почти рядом с капельмейстером. И теперь я его мог лучше рассмотреть.

Это был молодой человек лет двадцати с небольшим, стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. Словом, это был джентльмен первой породы. И вдобавок самой симпатической породы.

Когда он исполнил арию Прециозы, я не утерпел, закричал «браво!» и изо всей мочи стал аплодировать. Все посмотрели на меня, разумеется, как на сумасшедшего. Я, однако ж, не струсил и продолжал хлопать и кричать «браво!», пока, наконец, воловь глаза самого хозяина не заставили меня опомниться.

Оркестр снова строился, но я, не ожидая услышать что-нибудь лучшее лучшего, вышел из залы в сад. Ночь была лунная, теплая и спокойная. Я бродил около дому недалеко, и до меня долетали из хаоса звуков чудные звуки виолончели или скрипки. И образ грустного артиста с своею меланхолическою улыбкою носился как бы живой передо мною.

Где я его видел? Где я с ним встречался? – спрашивал я сам себя. И после долгого напряжения памяти я вспомнил, что я видел его во время обеда, с рукой, обернутой салфеткой, за стулом самого хозяина.

Мне сделалось почти дурно после такого открытия.

Музыка затихла, и я пошел через левую дорожку [к] старосветским таинственным дубам. Пройдя немного, я услышал тихий шорох шагов за собою, оглянулся и узнал преследующего меня виолончелиста. Я обратился было к нему с вопросом, но он предупредил меня, схватил мои руки и со слезами прижал их к губам своим.

– Что вы? Что вы? Что с вами сделалось? – спрашивал я его, стараясь освободить руки.

– Благодарю вас! благодарю! – говорил он шепотом. – Вы! вы один-единственный человек, который слушал меня и понял меня! – Он не мог продолжать за слезами. Я молча взял его под руку и привел к дерновой скамейке, устроенной вокруг столетнего развесистого дуба.

Долго мы сидели молча, наконец он заговорил:

– Вы со мной очень милостивы.

В это время раздался голос, называвший его по имени.

– Идите в виноградную беседку, – сказал он, вставая. – Я сию минуту приду к вам.

И он поспешно удалился. Глядя вслед ему, я думал: вот вдохновенный миннезингер XII века<sup>41</sup>. Как мы недалеко, однако ж, ушли от благородных рыцарей-разбойников того плачевного века. А просвещение идет себе вперед крупными шагами.

Я встал со скамьи и пошел по дорожке, ведущей к виноградной беседке. Не знаю почему, а я не надеялся услышать от него его безотрадную повесть, как это обыкновенно бывает, и я, слава Богу, не совсем ошибся. Правда, он передо мной высказался даже, может быть, больше, нежели сам хотел, но то не простой наш бедный язык, которым он заговорил со мною, – то были чудные, божественные звуки, в которых отразились стоны рыдающего непорочного сердца.

Пришел он ко мне в беседку с виолончелью и, не сказав ни слова, начал настраивать инструмент. И вроде пробы, как бы шутя, проиграл знаменитую каватину из «Нормы»<sup>42</sup>. У меня дух захватило при этих звуках.

<sup>40</sup> Шевченко говорить про музику німецького композитора, диригента й піаніста Карла Марії Фрідріха Августа фон Вебера (1786 – 1826) до п'єси німецького актора й драматурга Пія-Александра Вольфа (1782 – 1828) «Преціоза» (1821).

<sup>41</sup> Мінезінгерами в Німеччині XII – XIII ст. називали поетів-музикантів, які оспівували куртуазну любов.

<sup>42</sup> Шевченко говорить про перекладену для виолончелі каватину Норми з однойменної опери італійського композитора Вінченцо Сальваторе Кармело Франческо Белліні (1801 – 1835).

Не отнимая смычка от струн, он заиграл одну из задушевных мазурок вдохновенного Шопена<sup>43</sup>. Кончивши мазурку, он едва внятно проговорил: «Вот у нас свой бал». Проиграл он еще несколько мазурок Шопена, одну другой лучше, одну другой задушевнее.

К концу последней мазурки я заметил сквозь виноградные листья безмолвные лица многочисленных слушателей. То были горничные, лакеи и фореиторы приезжих господ. Они оставили окна, в которые глазели на немецкие танцы вымуштрованных господ и госпож своих, и пришли послушать, как Тарас играет.

Орфей мой, отдохнув немного и настроив свою лиру, повел медленно смычком по струнам, и полилася полная сердечной сладкой грусти моя родная мелодия на слова:

Котылыся возы з горы,  
А в долини стали<sup>44</sup>.

Проигравши тему, он вариировал ее на тысячу ладов, и так вариировал, что я ничего подобного в жизнь мою не слыхал, да, кажется, и не услышу никогда. Слушатели вокруг беседки в продолжение игры не пошевелились, и, когда он кончил свои чудные вариации, слушатели долго еще слушали, не переводя духа, разразились, наконец, общим вздохом и снова замолчали.

Я молча взял его за руки и знаком просил его выйти из беседки. Мы вышли и долго молча ходили по дорожке, как бы бояся заговорить. Наконец я, овладевши собой, спросил его:

– Где вы учились?

– Сначала дома.

– А потом?

– А потом барин с барыней ездили за границу и меня с собою брали, и, пока они жили в Берлине, я ходил несколько раз к Шпор<sup>45</sup>. И больше нигде не учился.

– Да ведь Шпор играл на скрипке.

– Я на скрипке у него и учился. Скрипка и есть мой настоящий инструмент, а виолончель – это уже так.

– Что же вы намерены теперь с собою делать? Ведь вы настоящий великий артист!

– А что мне с собою делать? Повеситься, ничего больше.

Правду сказать, я и сам не мог ему ничего лучшего предсказать.

– Прошедшего лета, – заговорил он, – приезжал к нам из Качановки Глинка<sup>46</sup>, слушал мою игру на скрипке и на виолончели, хвалил меня и просил барина, чтобы отпустил меня на волю. Они обещали ему, но тем, кажется, и кончилось.

– Не унывайте, молитесь Богу. Даст Бог, все устроится.

– Я не отчаиваюсь, Михайло Иванович, кажется, добрый такой, на него можно надеяться.

– Совершенно можно, если только он про вас не забыл. Напишите вы ему письмо.

– Написать-то я напишу, да как же я перешлю его? Ведь я адреса не знаю.

– Я знаю, и вы передайте письмо мне. Напишите письмо сегодня, а я завтра буду в городе и подам его на почту.

В это время мы подошли к беседке, и он спросил меня, наклонясь к виолончели:

– Не сыграть ли вам еще что-нибудь?

---

<sup>43</sup> Фредерік Францішек Шопен (1810 – 1849) – польський композитор і піаніст; Шопен написав понад шість десятків мазурок.

<sup>44</sup> Варіант народної пісні «Котилися вози з гори», що її авторство приписують Марусі Чурай.

<sup>45</sup> Людвіг Шпор у Берліні не жив. У 1812 р. він стає капельмейстером Віденської опери, потім їде до Італії, з 1817 р. працює музичним керівником Франкфуртського театру, а з 1822 р. до кінця життя був придворним капельмейстером у Касселі.

<sup>46</sup> Російський композитор Михайло Іванович Глінка (1804 – 1857) влітку 1838 р. тривалий час мешкав у селі Качанівка Борзнянського повіту Чернігівської губернії, у маєтку Григорія Степановича Тарновського.

– Весьма вам благодарен. Вы устали, отдохните немного и приготовьте к завтраму письмо. И мы расстались.

После ужина (перед восходом солнца), раскланявшись с хозяином и хозяйкой, я, не заходя в табор, пошел в село нанять лошадь с телегой для совершения обратного путешествия до города или хоть до почтовой станции. Но увы! во всем огромном селе ни лошади, ни телеги не оказалось. Нечего сказать, мужики зажиточные! Пьяницы, я думаю, да лентяи по большей части, а то как бы не найтись во всем селе одной лошади с телегой. Удивительный народ наши мужики: не припугни его, так ничего и не будет. А вас, однако ж, как видно, чересчур припугнули, подумал я, глядя на обнаженное село.

Делать нечего, отправился я к жиду в корчму и нанял у него (разумеется, за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. А там, уверял меня жид, хоть четверку можно нанять до самой Прилуки.

С помощью услужливого Тараса Федоровича (виолончелиста) мы уложили кое-как свою мизерию и выехали из села по дороге в Прилуку.

– Скажите мне, что это такое за ферма, на которую он нас теперь везет? – спросил я у своего полусонного ментора.

– Ферма? Это хутор Антона Адамовича. Прекраснейшие люди, т. е. он и Марьяна Акимовна. Прекраснейшие люди. Заедем, непременно заедем! Я уже их давно не видел.

– Пожалуй, заедем. Мне теперь заодно уж шляться, пока не выберусь на почтовую дорогу.

– Не будете жалеть. Антон Адамович презамечательный человек. Он, извольте видеть, начал и кончил свою службу во флоте лекарем. Путешествовал раза два вокруг света, оставил службу. Получает себе полный пансион. Да теперь приватно занимает место домашнего лекаря у нашего амфитриона, а он ему вдобавок еще и хутор подарил со всеми угодьями. Чего ж еще? Живи да Бога хвали.

– И давно он уже живет здесь?

– Да будет лет около десяти с небольшим.

– Что они, семейные люди?

– Нет, только вдвоем. Правда, под их непосредственным надзором воспитываются две дочери помещика, премиленькие дети, и они-то, можно сказать, и заменяют им настоящих детей. Одной, я думаю, будет уже лет около шести, а другая годом меньше.

– Что же их не видно было на бале? Ведь они, я думаю, уже качучу танцуют. А это, вы знаете, какое украшение бала.

– Нет, я думаю, что они еще качучу не танцуют. И, знаете, мать хочет их воспитать в совершенном уединении и после выпустить их на свет совершенно невинных, как двух птенцов из-под крылышка. Знаете, мне эта идея чрезвычайно нравится. Нравственно-философская и, можно сказать, поэтическая идея. Как вы думаете?

– Действительно, поэтическая идея, но никак не больше. Я не подозревал, однако ж, чтобы у Софьи Самойловны были дети. Она еще так свежа.

– И прекрасна, прибавьте!

– Действительно, прекрасна.

В это время повстречался нам мужик и, снявши свой соломенный брыль, поклонился. И когда мы проехали мимо его, то он все еще стоял с открытой головой и смотрел на наш экипаж. И, вероятно, думал: «Чорт его знае, що воно таке – чи воно паны? Чи воно жида?» Паны, да еще из балу возвращающиеся.

Конечно, вы знаете лубочную картинку, изображающую, как жида на шабаш поспешают. Много было общего между этою картинкою и нашим экипажем – пожалуй, и пассажирами. Как же тут было мужику не остановиться и не полюбоваться таким величественным поездом? А надо вам сказать, что пыль не скрывала нашего великолепия, потому что мы двигались шагом,

и только наши особы торчали из глубокой жидовской брички, а сам хозяин шел пешком, погоня свою тощую клячу.

Несколько раз до меня долетали какие-то жидовские слова, со вздохом произносимые нашим возницею. И так часто повторял он одну и ту же фразу, что я невольно ее затвердил. И просил его перевести мне ее, на что он неохотно согласился, уверяя меня, что [то] были нехорошие слова.

«Такие скверные, – прибавил он, – что о них и думать нехорошо, а не то, чтобы еще их говорить». Когда же я ему посулил гривну меди на водку, то он, посмотревши на меня недоверчиво, сказал:

«Уни хушавке мес. По-вашему будет означать, что живой человек без денег – все равно, что мертвый».

Настоящая жидовская поговорка.

Вот мы и едем себе тихонько по дорожке между прекраснейшей зелени, освещенной утренним солнцем. Роса уже немного подсохла, и кузнечики начинали в зеленом жите свой шепот. Такой тихий, такой мелодический шепот, что если бы меня не укусила муха за нос, то я непременно бы заснул. Согнавши проклятую муху, я невольно взглянул вперед. Боже мой, да откуда же все это взялось? Представьте себе, из зеленой гладкой поверхности, можно сказать перед самым [носом], выглянули верхушки тополей, потом показались зеленые маковки верб. Потом целый лес расстался под горою, а за ним во всю долину раскинулось, как белая скатерть, тихое светлое озеро.

Прекрасная, душу радующая картина!

Я растолкал своего товарища и показал ему рукою на великолепный пейзаж.

– Это ферма Антона Адамовича. Мы тут встанем и пойдем через рощу пешком, а он пускай остановится около млына под горою.

Сделавши наставление жиду, мы пошли к роще, но в рощу мы не так легко попали, как думали, потому что она обведена довольно широким рвом, а противоположная сторона рва защищена живою изгородью, т. е. усажена крыжовником.

Взявшись с приятелем под руки (чего я, между прочим, терпеть не могу), пошли вдоль изгороди, установленной высокими роскошными тополями. Из-за тополей кой-где просвечивалась молодая березовая рощица или темнел стройный молодой дубняк. То вдруг стройный ряд тополей прерывался усевшимся над самым рвом старым дубом, протянувшим свои живописные ветви далеко за ров, на самую дорогу.

Пройдя добрые полверсты, мы дошли до угла изгороди и повернули влево по тропинке, идущей параллельно со рвом под гору. При этом повороте нам открылось во всей красе своей тихое светлое озеро, окаймленное густым зеленым камышом и раскидистыми огромными вербами. Подойдя к озеру, мне так и хотелось окунуться раза два-три в его прозрачной воде. Но вожатый мой заметил мне довольно основательно, что подобное действие было бы неприлично. Тем более, что в это время мы подошли к воротам парка, осененным двумя старыми вербами. Мы без труда отворили ворота и вошли в парк. Длинная тенистая дорожка вела к дому, вдали белеющему сквозь ветви. Не доходя до дома, мы в стороне, недалеко от дороги, между деревьями увидели человеческую фигуру в белой полотняной блузе, в соломенной простой шляпе и с сигарою в лице.

– Антону Адамовичу имеем честь кланяться! – закричал вожатый.

Фигура в блузе приподняла шляпу и, вынувши сигару из лица, сказала:

– Добро пожаловать!

Мы подошли друг к другу поближе. Это был сам хозяин парка или фермы. Свежий коренастый старик самой немецкой физиономии. Я был откомендован моим разбитным путеводителем со всеми прилагательными, на что Антон Адамович с добродушной улыбкой протянул мне руку и проговорил:

– Очень рад.

Я с своей стороны проговорил тоже какую-то лаконическую вежливость, и мы вышли снова на дорогу. Не успели мы ступить несколько шагов, как к нам выбежали из-за куста цветущей душистой черемухи две белокурые прекрасные девочки лет пяти или шести и бросились к Антону Адамовичу, крича:

– А что, испугали! Испугали!

Антон Адамович молча указал им рукою на нас, и девочки оставили его и спрятались за куст черемухи.

Тем временем мы вышли на зеленую площадку, примыкающую одной стороной к озеру, а другой к крылечку чистенького беленького домика, кругом усаженного кустами сирени.

Дивное впечатление произвела на меня эта грациозная картина.

Вслед за нами девочки выбежали на лужок, а из дома на крылечко [вышла?] молодая, прекрасная собою женщина, с книгою и с зонтиком в руке, и пошла к детям. Это была гувернантка-француженка, как я после узнал.

Мы вошли на крылечко, и хозяин предложил нам отдохнуть в тени, а сам пошел в дом.

Я на досуге залюбовался на детей, играющих на зеленом лужке, и, правду сказать, на стройную, величественную фигуру прекрасной гувернантки, залюбовался до того, что не заметил, как к нам вышла на крылечко сама хозяйка.

Я, поклонившись, извинился в своей рассеянности.

– Ничего, ничего, любуйтесь. У нас, слава Богу, есть на что полюбоваться. – И она лукаво улыбнулась и обратилась к моему товарищу. Тот начал было рекомендовать меня, но она ему сказала нецеремонно:

– Не беспокойтесь, мне уже Антон Адамович отрекомендовал. А вы лучше расскажите, каково вы повеселились на бале.

И приятель мой пустился описывать ей бал, а я тем временем стал рассматривать нецеремонную хозяйку дома.

Это была лет тридцати пяти, по крайней мере, прекрасно сохранившаяся брюнетка, с большими выразительными карими глазами, с довольно свежим для ее лет румянцем на полных щеках, со вздернутым носом, с прекрасными белыми крупными зубами и с едва отвисшим подбородком. А в целом она была настоящий тип малороссиянки; даже голос ее, и особенно произношение, напоминал мне мою землячку, какую-нибудь чиновницу средней руки или высокой руки протопопшу, несмотря на то, что она была одета как настоящая барыня.

– А нуте вас с вашим балом, – проговорила она скороговоркой. Остановилась в дверях да и затараторила: – Прошу покорно в покои. Вы хоть из балу сегодня, а, верно, еще чаю не пили. Правду сказать, и мы еще только что поднялись.

Я пошел вслед за хозяйкою. А товарищ мой, как человек знакомый с местностью, пошел отыскивать жида и распорядиться насчет помещения.

В первой комнате, довольно большой, встретил нас Антон Адамович, уже не в полотняной блузе, а в сером пальто из летнего трико, и просил меня садиться без церемонии.

– А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину просить к завтраку Адольфина Францовну с детьми.

На зов Марьяны Акимовны явилась горничная, скромная и миловидная, в деревенском костюме. И, получивши приказание от Марьяны Акимовны на чистом малороссийском языке, вышла из комнаты.

Через несколько минут вошла в комнату гувернантка с двумя девочками, а за нею и мой товарищ. И все мы усадились вокруг стола, увенчанного изрядным самоваром.

Если бы я не знал, чьи это были дети, то я подумал бы, что Марьяна Акимовна была им настоящая мать, – так мило, так матерински мило она ухаживала за ними. И, к немалому моему удивлению, она, обращаясь к гувернантке, разговаривала с нею по-французски. «Вот тебе и

чиновница средней руки! Вот тебе и протопопша высшей руки!» – подумал я. Я был просто очарован Марьяной Акимовной, и если б она обращалась к своей Ярине (кажется, единственной прислуге) хоть на великороссийском диалекте, то я подумал бы, что я имею счастье видеть перед собою по крайней мере графиню или хоть просто даму высшего полета.

Такова сила предубеждения против своего родного наречия.

За чаем я случайно узнал имена двух девочек; одну, кажется, старшую (потому что они обе одинакового роста), звали Лизой, а другую Наташей. И так они были похожи одна на другую, что, пересади их с места на место, то и не знал бы, которая из них Лиза, а которая Наташа. А обе они были чрезвычайно похожи на свою милую маменьку.

Хозяйка, между прочим, обратилась ко мне и спросила, понравился ли мне концерт в Дигтярах?

– Ведь уж, верно, там не обошлось без концерта? – прибавила она.

Я отвечал утвердительно.

– А каков виолончелист! Не правда ли, прекрасный?

– Превосходный! – отвечал я.

– Это наш большой приятель, и, кроме того, что он артист превосходный, но нужно знать, что он и человек самого нежного, самого благородного сердца. Но что будешь делать? – прибавила она со вздохом. – Лиза и Наташа плачут, когда не видят его два дня сряду. А про Адольфину Францовну и говорить нечего, – сказала она шутя и поцаловала гувернантку в загоревшую щеку. Из чего я заметил, что она понимает по-русски.

Мне было чрезвычайно приятно слышать подобный отзыв о человеке, которого я с одного разу полюбил, как что-то близкое моему сердцу.

После чая Антон Адамович обратился к нам и просил в свою хату.

– Я к ним только в гости захожу, а хата моя там, в саду.

И он взялся за свою шляпу. И мы последовали его примеру.

Белая, соломой крытая хата, к которой нас привел Антон Адамович, стояла между фруктовыми деревьями и служила кабинетом Антону Адамовичу и вместе караульной. Чисто немецкая штука!

Хата Антона Адамовича, как вообще малороссийские хаты, разделялась сенями на две половины: собственно на хату с комнатою и на так называемую комору. В коморе, освещенной одним окном, помещалась у него аптека и библиотека. В сенях – лаборатория; это можно было заключить из стоявшего на широком камне алембика, реторты<sup>47</sup>, стеклянных и глиняных банок. Стены светлицы, или кабинета, были украшены луками, стрелами, томагауками<sup>48</sup> и другими орудиями дикарей, что и свидетельствовало о кругосветном странствовании Антона Адамовича.

Около стен стояло две кушетки, а между ими, у стены, простой дубовый стол и на нем электрическая машина.

– Не угодно ли будет отдохнуть с дороги, а я пока наведуясь в Дигтяри: ведь я их домашний медик. До свидания.

И он оставил нас в своем кабинете совершенными хозяевами.

– Не думал я, отправляясь на бал, попасть в кабинет ученого путешественника и вдобавок путешественника скромного, – подумал я вслух, когда мы остались одни.

– Да это что еще! – сказал мне товарищ. – Вы загляните в комнату, – вот где редкости.

И, действительно, редкости. Во всю длину комнаты, около стены, дубовый широкий стол уставлен разнообразнейшими и красивейшими раковинами тропических морей. А посередине

---

<sup>47</sup> Алембик – скляний перегонний куб; реторта – посуда з повернутим назад носиком для перегонки речовин.

<sup>48</sup> Томагавк – холодна зброя (сокирка) індіанців Північної Америки.

стола, как раз против окошка, плоский ящик в аршин длины и ширины со стеклянной крышкой, заключавший в себе нумизматические редкости Антона Адамовича.

Между разной формы и величины монет я увидел австрийский талер 17 века с глубоко вдавленным клеймом, изображавшим московский герб<sup>49</sup>.

– Не правда ли, любопытная монета? – сказал мне товарищ, указывая на талер, – или лучше сказать, любопытно[е] клеймо.

– Но что оно значит, это клеймо? – спросил я его.

– А вот, извольте видеть, когда в 1654 или 5-м году ходил наказным гетманом Иван Золотаренко с полками малороссийскими добывать Смоленска московскому царю<sup>50</sup>, то, не знаю, почему-то наши козаки не захотели брать жалованья московскою монетою; вот им и выдали австрийскими талерами, положивши московское тавро на каждый талер.

Налюбопытствовавшись редкостями Антона Адамовича, я вышел в сад, оставивши своего товарища помечтать наедине, то есть маненько приуснуть.

Я обошел весь сад или, лучше сказать, парк и не мог довольно налюбоваться прелестью деревьев, чистотою дорожек и вообще истинно немецкой аккуратностию, с какой все это содержится. Например, у кого вы увидите, кроме немца, чтобы между фруктовыми деревьями были посажены арбузы, дыни – и даже кукуруза? В Германии это понятно, но у нас это просто не постижимо.

Из саду вышел я на греблю, усаженную вербами, полюбовался чистенькой, аккуратной мельницей об одном шумящем колесе, и, пройдя плотину, я очутился в селе. Село всего-навсего, может быть, хат двадцать. Но что это за прелесть! Что ни хата, то и картина.

«Вот, – подумал я, – и не великое село, а весело[е]». Попробовал я у встретившегося мужика спросить, можно ли будет нанять у них лошадей до Прилуки.

– Можно, чому не можна, – хоть пару, хоть две пары, так можна!

– Хорошо, так я зайду после, поторгуюсь.

– Добре, поторгуйтесь.

За селом я увидел панскую клуню, или господское гумно, уставленное скирдами разного хлеба. Подходя к гумну, я встретил токового, и он показал подведомственный ему ток, или гумно. Я как не агроном, то и смотрел на все поверхностно и расспрашивал также поверхностно. И из всего виденного и слышанного мною заключил, что не мешало бы записным агрономам поучиться кой-чему у Антона Адамовича или хоть у его токового.

Насчет винокурни, когда спросил у него, почему, дискать, Антон Адамович, имея столько хлеба, не построит себе винокуреньку, хоть небольшую, [токовой ответил?]:

– Бог их святой знае – я и сам им говорил, что построить хоть небольшую. «Зачем, – говорить, – что[бы] пьяныц голых пускать по свиту? Не нужно!» Они у нас такие чудные, и, Боже сохрани, как они того проклятого вина не любят.

– Действительно, странный человек. Ну, а мужики у вас в селе есть-таки пьющие?

– Ни одного.

– Прекрасно! Куда же вы сбываете свой хлеб?

– А куда сбываем? Никуда больше, как у Дигтяри. Видите, паны там бенкетуют, а мужики голодают. Да еще мало того: в селе, кроме корчмы, что ни улица, то и шинок, а в каждом шинке, для приману людей, шарманка играет. Вот мужик бедный и пропивает последнюю нитку под немецкую музыку. Сказано – мужик дурак.

«Зато паны умудрились! О филантропия!» – подумал я и простился с токовым.

---

<sup>49</sup> Шевченко говорить про так звані «єфимки з признаком» – монети часів царя Олексія Михайловича.

<sup>50</sup> Иван Никифорович Золотаренко (? – 1655) – полковник корсунський (1652) та ніжинський (1653 – 1655). Як наказний гетьман очолював козацьке військо в поході на Білорусь (1654 – 1655), але в боях за Смоленськ участі не брав (Шевченко говорить про це вслід за «Історією русов»). Натомість в облозі Смоленська брав участь його брат Василь (? – 1663).

Подходя к гребле, я невольно остановился полюбоваться старыми вербами, опустившими свои длинные зеленые ветви в светлую прозрачную воду. А из-за этих роскошных ветвей, с противоположной стороны пруда, выглядывает из темной зелени беленький, улыбающийся домик Антона Адамовича, и как красавица любит свою прелесть перед зеркалом, так он любит себя в прозрачном тихом озере.

«Благодарь!» – подумал я и пошел через греблю к кокетливому домику.

К этому времени Антон Адамович возвратился от своих пациентов и, к великой моей радости, привез с собою милого моего виртуоза, и с виолончелью. Мы встретились с ним при входе в сад и дружески приветствовали друг друга, как самые старые знакомые.

К нам подошла Марьяна Акимовна и нецеремонно взяла меня за руку и сказала:

– Вы должны быть благороднейший человек, коли полюбили нашего милого Тараса Федоровича. От души вам благодарна.

Я молча поцаловал ее руку. В это время подходил к нам Антон Адамович.

– Посмотри, посмотри, что наш гость делает! – сказала она, обращаясь к мужу.

– Ничего, ничего, – говорил Антон Адамович, улыбаясь. – А не лучше ли будет, если мы пойдем да с борщом покуртизаним? Как вы думаете, Марьяна Акимовна?

– И в самом деле лучше. Прошу покорно, господа, – сказала она, обращаясь к нам, и мы пошли обедать.

Многие ли из вас, господа, имеющие хоть одну крепостную душу, посадят рядом с собою крепостного человека, хоть бы этот человек был величайший гений в мире?

Ручаюсь, что ни одного не найдется, кроме истинно благородного Антона Адамовича.

Тарас Федорович сидел между шалуньями Лизой и Наташей, и они ему, бедному, покоя не давали во время обеда. Чудное! благородное равенство! Вот бы как надо людям жить между собою. Да что же ты будешь делать? Нельзя. Между прочим, я услышал несколько французских фраз, произнесенных Тарасом Федоровичем – с гувернанткой. Этим окончательно полонил меня мой милый виртуоз.

После обеда мы, т. е. мужчины, отправились к Антону Адамовичу в хату покурить. Но так как [я] человек некурящий и виртуоз мой оказался таким же, то мы пошли себе гулять по саду, пока не вышли на небольшую лощину, на которой стоял небольшой стог свежего сена. Не устоял я против такого могучего соблазна. Снявши галстук и сертук, прилег, опустил на ароматное сено. И за мною, разумеется, и товарищ мой тоже. А чтобы дрема не одолела, я повел издали речь о двух девочках, живших, так сказать, на хлебах у почтеннейшего Антона Адамовича.

– Какие милые, прекрасные дети! – сказал я.

– И, прибавьте, счастливые дети. Я не знаю, что бы из них было, – продолжал он, – если б не существовало около нашего роскошного села этой фермы и этих добрых, благородных людей!

– Да, в самом деле, расскажите мне, что это за оригинальная мать, которая воспитывает своих детей таким образом. Мне кажется, что в этом возрасте детям никто не может заменить матери.

– Марьяна Акимовна им совершенно ее заменила. Вот что: Софья Самойловна, мать их по названию, великосветская дама. А главное – красавица. Красавица, которая конфузится, когда ее кто спросит о здоровье ее детей. Для нее это все равно, что сказать: «Как вы, Софья Самойловна, подурнели». И притом, как дама светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в високосный и четыре) должна отдать визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало, – а 17 сентября так вдвое столько наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница<sup>51</sup>. Пока отдаст визиты, смотрит

---

<sup>51</sup> 17 вересня за ст. ст. православна Церква вшановує святих мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію (? – 137).

– другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выбирается время, надо и в Петербург съездить. «А то, – говорит, – между этими хохлами совсем очерстеешь». Так сами посудите, до детей ли ей при такой жизни? И, по-моему, она лучше ничего выдумать не могла, как отдать их на руки Марьяне Акимовне.

– Я с вами согласен, что она умно сделала; но хорошо ли, это другой вопрос.

– Конечно, здесь сердце матери спрятано под себялюбием светской красавицы. Я слышал, однако ж, она недавно как-то о них вспоминала. Года через два она хочет их отправить в Смольный институт<sup>52</sup>. В Полтавском<sup>53</sup>, говорит, они хохлачками сделаются.

– И то правда. Как же она не побоялась их отдать Марьяне Акимовне? Или она думала ограбить их французенкою-гувернанткою да немкою-горничною?

– Какое! Немецкая горничная сама скоро сделается хохлачкою, а про гувернантку и говорить нечего. Послушайте, что я вам расскажу. Адольфине Францовне вздумалось учиться говорить по-русски. Вот Марьяна Акимовна и ну ее учить, – да вместо того чтобы по-русски, выучила ее по-малороссийски. Софья Самойловна чуть было не поссорилась из-за этого с Марьяной Акимовной. И знаете, что еще: она прекрасно поет некоторые наши песни. Будем ее просить, чтобы она нам хоть одну спела.

– Непременно.

– Вон они! Вон они! – услышали мы невдалеке детские голоса. И едва успели мы надеть сертуки, как подбежали к нам Лиза и Наташа и, ухва[тивши] за полы сертука Тараса Федоровича, потащили в сад, приговаривая: – Пойдемте! пойдемте! Вас мама просят играть.

Пройдя несколько шагов вслед за арестантом, я увидел прислонившуюся к дереву Адольфину Францовну и, подойдя к ней, сказал ей какую-то любезность по-малороссийски, на что она, сделавши милую гримасу, очень незастенчиво отвечала мне: «Спасыби». Мы пошли вслед за детьми, разговаривая как короткие знакомые. Между прочим, в доказательство своего знания в малороссийском языке, [она] прочитала мне два стиха:

Катерино, сердце мое,  
Лышенько з тобою<sup>54</sup>.

И с таким милым выражением прочитала она эти стихи, что не знай я, что она французенка, то я, не запинаясь, сказал бы, что она моя истинная землячка.

Любезничая с mademoiselle Адольфиной по-хохлацки на французский лад, мы немного отстали от детей и арестованного артиста. И когда подошли к дому, то наш артист уже на крыльчике играл на скрипке плясовую малороссийскую песню. А Лиза и Наташа перед крыльчиком, с поднятыми ручонками, как бы прищелкивая, танцевали, приговаривая:

Гоп-чук, гречаныкы,  
Гоп-чук, печении<sup>55</sup>.

Антон Адамович, сидя на крыльчике, добродушно улыбался, а Марьяна Акимовна брала поочередно детей на руки [и] целовала с самой искренней материнской нежностью. Поодаль стояла немка-горничная и, увлекшись живым мотивом песни, прищелкивала в такт пальцами.

Одни простодушные счастливицы могут группировать из себя подобную картину.

---

<sup>52</sup> Смольный институт – перший у Росії институт шляхетних панночок, заснований за ініціативою Івана Івановича Бецького в 1764 р. у Санкт-Петербурзі при Воскресенському Смольному Новодівичому монастирі.

<sup>53</sup> Полтавський інститут шляхетних панночок був заснований 1818 р. за ініціативою княгині Варвари Олексіївни Рєпніної-Волконської.

<sup>54</sup> Рядки з поеми «Катерина».

<sup>55</sup> Слова з української народної пісні-танцю «Гречаники».

В саду, кроме хаты Антона Адамовича, была еще небольшая хатка с навесом, и вместо завалявшихся стояли вокруг решетчатые деревянные скамейки, а перед хаткою – старая липа, тоже со скамейкою вокруг, только не деревянною, а дерновою. Хатка – это была мастерская или рабочая Марьяны Акимовны. Здесь сушились фрукты, варились варенья и созидались разные великолепные настойки и наливки. А под липою Марьяна Акимовна отдыхала по трудах.

В эту хатку на все лето выносилося фортепьяно, потому что Марьяна Акимовна, несмотря на свои прозаические годы и занятия по части спитобной и съедобной, осталась в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной фантазии.

Часто и долго, сидя под липою, слушал и добрый Антон Адамович, куря свою сигару, слушал – и холодные практические думы таяли, как снег перед лицом весеннего солнца. Немецкая фантазия оживала, сигара гасла во рту, и старик молодел.

В эту-то заветную хатку Марьяна Акимовна просила своих гостей чай пить.

После чаю в хатке зажгли свечи. М-лле Адольфина без всяких просьб и уговариваний, как это обыкновенно бывает с порядочными барышнями, села за фортепьяно, а Тарас Федорович вооружился виолончелью. И, после нескольких аккордов, тихо, стройно, как будто с неба, раздалась одна из божественных сонат божественного Бетговена.

Мы все остались под липою и в продолжение сонаты сидели, притая дыхание; даже резвые дети – и те прильнули к Марьяне Акимовне, затихли и только, улыбаясь, поглядывали друг на друга.

За сонатой Бетговена были сыграны с одинаковым мастерством и чувством две сонаты Моцарта и после некоторые места из знаменитого «Реквиема»<sup>56</sup>. И в заключение совершенно неожиданно:

Ходыть гарбуз по городу<sup>57</sup>.

Дети запрыгали около Марьяны Акимовны. А Антон Адамович пошел в хатку закурить сигару.

Тарас Федорович такие раскинул вариации на этот полувеселый, полугрустный мотив, что дети опять молча прильнули к коленям Марьяны Акимовны, а у Антона Адамовича опять сигара погасла.

Многие ли из людей в блеске и роскоши проводят свои длинные вечера так нецеремонно-просто и так возвышенно-изящно, как мы, простые, почти бедные люди, провели этот незабвенный вечер? Я думаю, немногие. И выходит, что истинно прекрасное и возвышенно-духовное не нуждается в ремесленных золоченых и даже золотых украшениях.

Кончивши вариации, артисты наши вышли из хатки и обратились с просьбою к Марьяне Акимовне, чтобы она сыграла для них что-нибудь. Она отказывалась. Мы присоединились к ним – решительно ничего не помогло. Завтра, говорит, я вам сыграю, а то сегодня это значит – после меду хрену. Пойдемте лучше гулять. [В]он, смотрите, из-за деревьев луна выглядывает. И с этими словами вошла в хатку, погасила свечи, притворила и замкнула двери, и все мы, весело разговаривая, пошли любоваться, как полная луна из-за мельницы и из-за старой вербы выглядывает и отражается в темной прозрачной воде.

Я совершенно был очарован и декорацией, и этими добрыми, простыми людьми.

Долго мы еще гуляли по саду вдвоем с Тарасом Федоровичем, – он меня просто приворожил к себе.

---

<sup>56</sup> Ідеться про заупокійну месу Моцарта – останній твір великого композитора.

<sup>57</sup> Початок української народної пісні «Ходить гарбуз по городу».

Он (как это обыкновенно бывает с доверчивыми добряками) рассказал мне историю своего печального детства, без всякого с моей стороны домогательства (как это тоже обыкновенно бывает с пишущей братией). Он рассказал мне потому, что я его со вниманием или, лучше сказать, с участием слушал.

– Отца, – говорил он, – я не помню, и мать моя мне никогда о нем ничего не говорила. Хаты у нас своей тоже не было, и мы, как у нас говорят, жили в соседях, то есть переходили от одного мужика к другому, пока я начал ходить. Тогда она, как стала уже свободнее, то хотела было наняться у кого-нибудь на год, но ее никто не хотел нанять, не знаю почему: может, из-за меня или потому, что она была такая худая и бледная. Только обойдя все село без успеха, нанялася наконец у жида в корчме. Не могу вам сказать, сколько именно лет она служила у жида, только знаю, что я уже был порядочный мальчуган, когда она умерла, – а умерла она, сколько я припоминаю, от чахотки. И, как теперь помню, за несколько дней перед смертью пришла в свой чулан или, лучше сказать, стойло в стодоле, слегла и уже больше из стойла не выходила. За несколько минут перед ее смертью я принес ей воды в кружке. Но она уже пить не могла и говорить также, а только поманила к себе рукою, и когда я нагнулся к ней, она едва-едва прикоснулась к моей голове рукою, поцеловала меня, и две слезы выкатились из ее потухающих очей. Она тихо вздохнула и умерла.

Сотский похоронил ее [за] тот рубль, что оставался у жида, ею не полученный. А я шлялся по селу, пока не пристал к партии нищих. Между нищими был слепой кобзарь, или бандурист; ему и рекомендовали меня как мальчика скромного. Он и заменил мною своего прежнего жоака.

И, знаете, мне понравилось мое новое положение, [по]тому что я имел хоть какой-нибудь, а все-таки приют. А еще больше мне понравился слепец, которого я водил. Он был еще молодой человек и, помню, чрезвычайно сухощавый и с длинными пальцами. А в особенности мне нравилось, когда он сам для себя, медленно перебирая струны бандуры, тихонько напевал:

На мори сынему, на камени билому  
Ясный сокил квылыть-проквыляе...<sup>58</sup>

Что-то необыкновенное представлялось моему детскому воображению в звуках и в словах этой унылой песни.

Вот такой же, как и теперь, был в Дигтярях бал, с тою только разницею, что тогда и для нищих обед готовили, а теперь уже не готовят. Вот и мы с толпами нищих пришли на обед. Вот мы сидим себе под деревом, и в ожидании обеда, настроивши кобзу, заиграл мой кобзарь. Нас народ так и оступил. Вот он играет, а я смотрю по сторонам и вижу, к нам [идут?] господа, и с барышнями. Толпа, разумеется, расступилась перед господами, и сама Софья Самойловна подошла ко мне и, потрепавши меня по щеке, проговорила: «Какой хорошенький! – и, обратясь к господам, сказала: – Я его непременно возьму к себе в пажи».

Так и сталося. На другой день я был уже в числе многочисленной дворни. Но как я, не знаю, почему-то оказался неспособным для должности пажа, то меня начали учить пению, и я оказывал успехи. А потом стали учить и играть сначала на скрипке, а потом и на виолончели. Вот вам моя простая история, – прибавил он и замолчал.

– Грустная, правду сказать, история.

– Что делать – прошедшее мое, действительно, грустно, но настоящее так безнадежно, так безотрадно, что если б не эти благородные люди, то я не знал бы, что с собою делать.

– Не отчаивайтесь, друг мой, любите свое прекрасное искусство, и Господь успокоит вашу страждущую душу и пошлет вашему терпению счастливый конец.

---

<sup>58</sup> Перші рядки думи про Олексія Поповича.

– Не знаю, найдет ли мое письмо Михайла Ивановича в Петербурге.  
– О, наверное, он никуда не уехал, это было бы известно.  
– Да и можно ли надеяться, чтобы мое письмо могло иметь успех?  
– Без всякого сомнения. Я очень хорошо знаком с Михайлом Ивановичем. Это добрейшее, благороднейшее создание, словом, это самый благодушный артист. Еще вот что. Я завтра расстанусь с вами надолго, а быть может, и навсегда, но вы, и эти добрые люди, и эти часы, проведенные вместе с вами, так дороги моему сердцу, что для меня было бы величайшим подарком ваши хоть коротенькие письма. Прошу вас, извещайте меня хоть изредка. А о результате вашего письма Михаилу Ивановичу вы непременно меня уведомьте. Я вам завтра сообщу свой адрес.

И он обещался мне вести дневник и посылать его каждый месяц ко мне вместо писем. «Мне так приятно вам открываться во всем, и вы с таким вниманием слушаете меня, что я и тогда буду воображать, что рассказываю вам лично о моих впечатлениях».

В хате Антона Адамыча светился еще огонь, когда мы подошли к ней, но движения уже никакого не было. Виргилий мой так усердно храпел, что за хатой было слышно. Вскоре и мы ему начали вторить.

На другой день поутру я пошел было на хутор нанять лошадей с повозкою для перевезения себя с товарищем в Прилуку, но Антон Адамович догнал меня уже на гребле и воротил в дом, говоря, что порядочные люди так не делают. А Марьяна Акимовна и слышать не хочет, чтобы вы ранее трех дней оставили нашу ферму. Дети – и те даже заплакали, услышавши о таком вашем неделикатном поступке.

От Марьяны Акимовны я выслушал еще убедительнее рацею. «И не думайте, – говорила она, – и не помышляйте. Как на свете живу, то еще не видала, чтобы порядочные люди на другой же день из гостей уезжали, да еще и на мужицких конях. Этого не токмо что у нас, я думаю, и у немцев не водится. Так, Антон Адамович? Ты ведь немец. А?» – «Такой я немец, как ты немкина», – проговорил Антон Адамович и засмеялся.

– Вот и Тарас Федорович останется у нас, – продолжала Марьяна Акимовна. – Ему теперь, после балу, совершенно там делать нечего. А Адольфина Францовна обещается нам петь сегодня малороссийские песни. А дети обещаются вам танцовать хоть целый день гречаньки.

– И метельцу, мамаша, – проговорили разом обе девочки.

Противустоять не было возможности, и я сдался. Виргилий мой заговорил было о службе, об обязанностях, о попечителе.

– Уж хоть бы вы молчали, а то разносились с своим попечителем, право, ей-богу! А еще старый знакомый. Пойдемте лучше в мою хату чай пить, а то с вами не сговоришься.

Переглянулись мы с Виргилием и пошли молча за Марьяной Акимовной.

Прогостили мы еще два дня у этих добрых людей, и в это время удалось мне сделать карандашом несколько видов счастливой фермы и почти одними чертами всю нашу компанию, – а на первом плане Наташу и Лизу, танцующих гречаньки. Все это едва-едва набросано. Но вот уже проходит двадцатый год, как любовался я этой живой картиной. А, глядя на этот эскиз, я как будто снова люблю эту живую картину и даже слышу скрипку и прищелкивание пальцами немецкой горничной.

Мне кажется, никакое гениальное описание лиц и местности не может так оживить давно минувшее, как удачно проведенных карандашом несколько линий. По крайней мере, на меня это так действует.

На четвертый день нашего пребывания на благодатной ферме, часу в десятом утра, проводили нас, как самых близких своих друзей, гостеприимные и счастливые обитатели фермы со всем своим домом; даже Наташу и Лизу взяли с собой. И проводили не только через греблю,

даже через село, до самой клуни. Тут мы уселись в спокойную нетычанку<sup>59</sup> Антона Адамовича, запряженную парюю добрых коней, и покатались по гладкой извилистой дорожке.

Долго стояли друзья наши на одном месте и махали нам платками, а одна из девочек, чтобы виднее виден был ее платок, вскочила на плечи Антону Адамычу и преусердно махала своим платком. Нетычанка покатила быстрее и быстрее, и группа наших друзей [стала] едва заметна на горизонте. Еще четверть версты, маленькая ложбина – и друзья исчезли за горизонтом. Я взглянул еще раз назад, выехавши на пригорок, но, увы, кроме клуни и скирд, на горизонте ничего не было видно.

Мне стало грустно, так грустно, как будто расставался с своими родными на долгое, на неопределенное время. Оно так и случилось.

Во всю дорогу приятель мой молчал, чему я был очень рад, потому что не чувствовал в себе способности вести самый пустой разговор. Вскоре на горизонте показалась нам Прилука, а несколько ближе из-за темного лесу выглядывали главы, белым железом крытые, соборной церкви Густынского монастыря<sup>60</sup>.

Проезжая мимо этого обновляющегося замка-монастыря, меня чрезвычайно неприятно поразила новая, еще неоштукатуренная четырехугольная башня с плоской крышей, точно каланча<sup>61</sup>.

– Что это такое за урод торчит? – спросил я у своего приятеля.

– Это колокольня вновь отделанной домашней настоятельской церкви, что над малыми воротами.

– И, верно, какой-нибудь досужий костромской мужичок смастерил эту такую штуку?

– Нет, извините, не мужичок, а настоящий патентованный художник!<sup>62</sup>

– Как же он мастерски подделался под византийский стиль!

– Не извольте смеяться над нашим художником. Его торопят и денег не дают. А вот когда поедете из Прилуки в Нежин, так увидите в селе помещицы Н. настоящий храм царя Соломона, этим художником сооруженный. Уже на что наш просвещенный знаток и покровитель искусств, можно сказать меценат наших дней, Н., и тот посмотрел да только рот разинул, а про преосвященного и говорить нечего!

– Честь и слава вашему художнику!

Тем временем мы въехали в город. А через час я уже прощался с почтеннейшим педагогом, прося его для пользы науки записывать все, что касается археологии и вообще народного характера, как-то: пословицы, присказки, песни, предания и тому подобное. А наипаче просил его по временам извещать меня о наших добрых друзьях на ферме. Он обещался мне все исполнить по мере сил своих.

И мы расстались, и расстались надолго.

Расставаясь с моим путеводителем, не думал я тогда, что я с ним надолго-долго расстаюсь. Я тогда думал, что авось-либо в будущем году поеду снова по Малороссии по поручению Киевской археографической комиссии, буду в Чернигове, а из Чернигова поеду через Нежин в Прилуку и по дороге посмотрю хваленый храм, воздвигнутый коштом помещицы Н. и трудами патентованного художника, архитектора Н., а в Прилуке погощу денек-другой у моего Виргилия, и, если можно будет, навестим по-прежнему достойнейшего Антона Адамовича и Марьяну Акимовну и полюбуемся их прекраснейшею фермою.

Так я тогда думал. А вышло, что человек распределяет, а Бог определяет. А вышло то, что я в продолжение двадцати лет (со дня выезда моего из Прилуки) не только что не видел

<sup>59</sup> Нетичанка – бричка з плетением кузовом.

<sup>60</sup> Тобто Свято-Троїцького собору.

<sup>61</sup> Ідеться про дзвіницю Варваринської церкви, реконструйовану в 1844 – 1845 рр.

<sup>62</sup> У реконструкції Густинського монастиря брав участь російський архітектор-будівельник, академік Санкт-Петербурзької академії мистецтв (з 1839 р.) Дмитро Єгорович Єфімов (1811 – 1864).

Киева, Чернигова, Нежина, Прилуки, и моего автомедона<sup>63</sup>, и фермы, и всего, что я там видел прекрасного, – я в продолжение двадцати лет не видел моей милой родины – ни даже звука родного не слышал.

Вот что иногда судьба с нами делает!

После двадцатилетнего моего странствования по нечужим краям возвращаюсь я в Малороссию и, проезжая смиренный город Прилуки, вспомнил я серенький домик на углу грязных улиц и велел ямщику, или почтарю, остановиться у этого мизерного домика. Вылез я с телеги, вхожу на дворик. Меня встречают два мальчугана; я спрашиваю, здесь ли живет Иван Максимович С.

– Здесь! – отвечают оба разом мальчуганы.

– Дома он?

– Нет! Они в училище.

– А есть ли у вас дома кто-нибудь постарше вас?

– Есть маты дома, только они опочивают. Мы ее разбудим?

– Не нужно, не будите. Я после зайду.

И я поехал на почтовую станцию.

День был прекрасный и уже клонился к вечеру. И я, сложивши вещи свои, т. е. чемодан и котомку, на крылечке станционного дома, а подорожную отдавая смотрителю, просил его не торопиться с лошадьми.

Учредивши все таким образом, я уселся на своей мизерии, т. е. на чемодане, и принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилуцким Игнатом Галаганом<sup>64</sup>, тем самым, что первый отложился от Мазепы и передался царю Петру, за что и был, по смерти полковника Носа<sup>65</sup>, возведен в звание прилуцкого полковника и одарен великими маестностями в том же полку.

Пока я рисовывал сей памятник знаменитого полковника, солнце повисло над горизонтом, и толпа школьников показалась на улице. А за толпою школьников, в некотором отдалении, появилась на улице и тощенькая, согбенная фигурка, с зонтиком вместо палки в руке. Это был мой Виргилий, и я почти побежал к нему навстречу.

Долго мы стояли среди улицы друг против друга, и наконец, после подробных припоминаний, он протянул мне руку и сказал: «Антикварий! Антикварий! Так это вы? А я было уже вас совсем похоронил. Да как же вы переменились! Совсем было не узнал!»

– Спасибо еще, что хоть вспомнили!

– Да я вас всегда вспоминал, – да только по наружности не узнал. Прошу же вас покорнейше навестить меня в моей убогой келии.

И мы, разговаривая, подошли медленно к воротам серенького, давно знакомого мне домика.

У ворот, как это обыкновенно бывает в маленьких городах, стояла в землю вросшая скамейка. И мы молча посмотрели на нее и сели.

– Да, так вот вы и попутешествовали, – проговорил он грустно, – и свет Божий посмотрели. Чай, и за границей не раз побывали. А я, как залез в этот темный [угол], так и на свет Божий не показываюсь: сижу себе, можно сказать, без всякого движения.

---

<sup>63</sup> Автомедон (Автомедонт) – у давньогрецької міфології візник Ахілла. У переносному сенсі – вправний візник. Саме такого значення надавали йому письменники XIX ст., наприклад, Пушкін у романі «Евгеній Онегин».

<sup>64</sup> Ідеться про прилуцький Спасо-Преображенський собор (1705 – 1720), кошти на побудову якого дав Гнат Іванович Галаган (див. прим. до поезії «Іржавець»).

<sup>65</sup> Прилуцький полковник Іван Яремович Ніс (? – 1715) у 1714 р. був призначений генеральним суддею, а його місце посів Гнат Галаган.

И долго мы беседовали, вспоминая каждый из нас свое прошедшее. И, между прочим, он мне рассказал: он вскоре после нашего расставанья женился на благородной и прекрасно воспитанной, хотя и бедной, девушке. «И думал я с нею век свой прожить в счастии и любви. Но Бог судил мне в одиночестве век свой коротать». И старик заплакал.

– Братец! – раздался женский голос из-за ворот. – Идите в комнаты, пора вечерять, дети спать хотят.

– Накормите их, сестрица, и уложите, а мы еще немного здесь посидим. Сестрице! – прибавил он. – С нами гость сегодня вечеряет, то вы бы там что-нибудь лишнее, хоть карасика поджарили. Да и послали б Феклу, знаете, насчет того, сестрице.

– Пошлю, братец.

– Да... На третьем году, – продолжал он с расстановкой, – нашего блаженства она оставила меня навеки. Правда, я не совсем еще сирота: она оставила мне малое дитя свое, для которого, можно сказать, и прозябаю я. В тот самый год у сестры моей муж скончался скоропостижно и оставил ее тоже с маленьким сиротою. Вот мы с нею и сошлись в один куток, да и делим свое горе, как нам Бог помогает. Детей, я думаю, с Божиею помощью, в гимназию... а там...

– Братец, – раздался снова женский голос из-за ворот, – идите в комнаты. Надворе роса и холодно, а вы только во фраке.

– Сейчас! сейчас, сестрице! Пойдемте в нашу хату, а то и в самом деле как бы нам с вами не простудиться. Ведь мы с вами не можем похвалиться молодостью, цветущей здоровьем. Пойдемте.

И мы оставили скамейку и молча вошли в комнату.

Комнатка, в которой я двадцать лет тому назад провел несколько дней на холостую ногу, комнатка была та же, да не та. Бедность та же, да только бедность эта была умытая и принаряжена женскою рукою.

На чистеньком полу чистенькие половики, у окон беленькие занавески, на окнах бальзамины и герань в горшках. Стол, дощатый диван, табуретки липовые те же самые, да как-то иначе смотрели. Что значит женская рука в домашнем быту даже аккуратного мужчины!

В быту гражданских мужчин это еще не так резко бросается в глаза, как у военных. Например, зайти вы в комнату холостого офицера, изба избой, так и несет от нее псиной и табачищем. А у женатого офицера тоже изба, да только в этой избе сундук, на котором у холостого денщик спит с собакою, у женатого он покрыт ковриком и заменяет диван. На дощатом столике, вместо табачницы и гвоздя для ковыряния трубок, пестренькая ярославская салфеточка, зеркальце и какое-нибудь женское рукоделье. Словом, в семейной жизни, даже в бедности, есть какая-то свежая материальная прелесть, а о нравственной прелести я и не говорю.

Из другой комнаты вышла к нам старушка в черном платье и в белейшем чепчике, такая милая, чистенькая старушка, какую я редко встречал на своем веку.

– Рекомендую вам: моя сестрица, Марья Максимовна.

Я поклонился.

– А они, сестрице, мой старый добрый знакомый N. N.

Я снова поклонился, а она проговорила:

– Прошу садиться.

Я сел. А Иван Максимович заглянул в другую комнату и, обращаясь ко мне, сказал:

– Какая у меня добрая, умная, догадливая сестрица. Представьте, мне и в голову не пришло, чтобы предложить вам с дороги чаю, а ведь это как приятно. Я просто живу у нее, как у Бога за дверьми. Ну, попотчуйте ж нас, моя дорогая, моя бесценная хозяйка. А дети спать уже легли, сестрице?

– Уже легли, братец, – отвечала старушка, ставя на стол чашки с чаем.

– Ну, хорошо, я вам завтра их покажу. А по которому уже годочку им пошло теперь, сестрице? Они у нас, знаете, одноклассники, – прибавил он, обращаясь ко мне.

– Да вот на Петра и Павла минет по двенадцатому.

– Уже по двенадцатому! Боже мой, с какой быстротой летят наши старые лета! – проговорил он как бы с самим собою.

– Двенадцать! Двенадцать! Да!.. – почти вскрикнул он, ударивши себя по лбу ладонью. – Чуть-чуть было не забыл! У меня есть письмо на ваше имя, еще до моей свадьбы полученное мною. Так и лежит нераспечатанное. И знаете от кого?

– Не знаю, – отвечал я.

– От нашего почтеннейшего, благороднейшего Тараса Федоровича. Помните виолончелиста у Антона Адамовича на ферме?

– Боже мой, как не помнить! Я только хотел было спросить об нем у вас.

– Все расскажу, дайте время. Много трогательного и даже поучительного в жизни этого достойного человека. У меня даже есть записаны некоторые случаи из его жизни. Я, знаете, сам хотел было на старости лет пуститься в литературу. Да как прочитал Марлинского<sup>66</sup>, так у меня и руки опустились. Что за блестящий, что за гениальный слог! Сестрице! потрудитесь там вынуть из нижнего ящика комода пачку бумаг, веревочкой перевязанных.

Старушка не замедлила внести порядочную пачку бумаг, сахарной веревочкой перевязанную, и, отдавая их брату, спросила:

– Эти, братец, бумаги?

– Эти, сестрица, благодарю вас. Вот, – сказал он, обращаясь ко мне, – вот сколько перепорчено бумаги, а все это литература виновата.

И, развязавши бумаги, он стал их перелистывать. И, остановясь на лоскуте синей бумаги, он сказал:

– А помните ли, вы меня тогда просили записывать все, что я ни услышу, касающееся поэзии и философии нашего простого народа? Помните?

– Помню, – я говорю.

– Вот я исполнил вашу просьбу. Здесь вы много премудрости найдете... Да где же это письмо? Уж не потерял ли я его? Нет, нет, вот оно. Я посылал его в Киев на ваше имя, а мне, знаете, и возвратили его. Вас уже в Киеве не было.

И он подал мне пожелтевший конверт, говоря:

– А знаете что? Сегодня у нас среда. Погостите у нас до воскресенья, а в воскресенье пустимся мы с вами в путешествие – помните, как когда-то. Только не на бал, а просто-запросто на ферму. Там вы лично увидите и автора сего письма. А до воскресенья я разберу эти лоскуты, а может быть, и вам кое-что прочитаю.

Я согласился и, после долгих упрасиваний со стороны братца и сестрицы остаться ночевать у них, взял письмо и отправился на почтовую станцию.

Случалось ли вам читать письмо, написанное вашим искренним другом и полученное вами пятнадцать лет спустя? Кто не читал подобного письма, тому напрасно бы я стал рассказывать и описывать впечатление, произведенное на меня письмом моего достойнейшего друга Тараса Федоровича. Впечатление невыразимое. Впечатление, которое только тот понимает, кому случалось читать подобное письмо.

Главный эффект такого письма тот, что вы как будто только что проснулись и читаете строки, только вчера написанные, а пятнадцать лет вам покажутся каким-то неопределенным сновидением.

Вот что писал мне мой бесталанный друг:

---

<sup>66</sup> Олександр Олександрович Бестужев (Марлінський) (1797 – 1837) – російський письменник і публіцист, надзвичайно популярний у 1830-х рр., коли його називали «Пушкіним прози».

«Я был близок к смерти или, лучше сказать, к помешательству, когда мы приехали в Петербург и я узнал, что Михайло Иванович уже другой год за границею<sup>67</sup>. Вот причина, почему мое письмо, которое вы ему переслали, осталось без всяких последствий. О! как горько! Как невыразимо горько нам, когда наши прекрасные, блестящие надежды разбиваются молотом неумолимой судьбы!

Я обещался писать вам сейчас же, как только узнаю, какой бы ни был результат моего письма Михайлу Ивановичу. И вот уже проходит третий год, как я только что собрался с духом написать вам о своих так безжалостно разрушенных надеждах.

После бала или, лучше сказать, после того концерта, что вы мне так чистосердечно аплодировали и вследствие которого концерта я вас так полюбил, как родного моего брата, – так после этого бала, недели две спустя, у нашей Софьи Самойловны показался прыщик на левой щеке. Она его расцарапала. Из прыщика сделался веред. А из вереда к августу месяцу сделалась рана такая, что она едва ее рукою закрывала. Вообразите себе ее положение. Красавица – и не прошло месяца, как на нее смотреть нельзя было. Красавица, заметьте, такая, которая именем матери пожертвовала красоте своей. Не страдал так величайший музыкант Бетховен, когда оглох, и не страдал так великий наш Буонаротти, когда ослеп<sup>68</sup>, как она, бедная, страдала.

В половине августа решено было ехать в Петербург. В числе квартета и я был назначен. Радость мою только вы можете понять. Я думал: вот когда настал конец моим страданиям. А страдания только что начинались. Поехали мы. Дорогою и сам захворал. И, не доезжая Великих Лук<sup>69</sup>, на станции Сыруты<sup>70</sup> умер. Думаю, что она его во гроб вогнала своими капризами. И, правду сказать, ничего в свете не может быть ужаснее, как внезапно обезображенная красавица. Гиена, просто гиена.

По приезде в Петербург, разумеется, было не до гостей и не до квартетов. Лакейская же моя обязанность была не велика. Уберу поутру комнаты, да и марш на целый день, куда глаза глядят.

О, лучше бы я никогда не видал свету Божьего, чем видеть его, чувствовать и не сметь ни чувствовать, ни смотреть на него.

После того дня, в который я узнал, что Михайло Иванович за границей, я заболел – сначала лихорадкою, а потом горячкою, и месяц спустя я увидел или сознавал себя в Петровской больнице, что на Петербургской стороне<sup>71</sup>.

Меня стали посещать по средам и по субботам товарищи мои, лакеи-виртуозы.

И во едину из суббот сказали мне, что наша Софья Самойловна скончалась под ножом какого-то знаменитого хирурга и мы остались сиротами.

Я плохо поправлялся, так плохо, что даже сам главный доктор Кох<sup>72</sup>, проходя мимо моей койки, и не останавливался.

Весною, однако ж, я мог уже прогуливаться по длинному широкому коридору. А в мае месяце меня уже в полдень и в сад выпускали часа на два.

Надо вам сказать, что в Петровской больнице есть и женское отделение, в третьем этаже. И женщин выздоравливающих тоже выпускают в полдень погулять в саду.

---

<sup>67</sup> У червні 1844 р. Михайло Глінка виїхав із Санкт-Петербурга в Париж.

<sup>68</sup> Про те, що Мікеланджело після завершення розписів Сікстинської капели на якийсь час втратив зір, писав Джорджо Вазарі у своїй книзі «Життєписи найславніших живописців, скульпторів та архітекторів» (1550).

<sup>69</sup> Великі Луки – старовинне російське місто, повітовий центр Псковської губернії (нині районний центр Псковської обл. Росії).

<sup>70</sup> Серути – поштова станція неподалік Великих Лук.

<sup>71</sup> Ідеться про Петропавлівську лікарню, відкриту в 1835 р. Кошти (400 тис. карбованців асигнаціями) на побудову «больниці, утворюваної на Петербургській стороні», дав імператор Микола I.

<sup>72</sup> Герман Кох (1807 – 1868) – головний лікар Петропавлівської лікарні.

Вот однажды я сижу на скамейке. Подходит ко мне больная в тиковом халате и в белом чепчике или таком же колпаке, как и я. Мы просидели молча, пока служитель не загнал нас в палаты.

На другой день была погода хорошая, и нас снова послали гулять в полдень. Походивши немного, я присел на скамейке. Вчерашняя дама снова приходит и садится около меня. Я как-то нечаянно взглянул ей в лицо и увидел, что она была красавица, но только такая исхудалая, такая грустная, что у меня сердце заболело, на нее глядя. Я не утерпел и спросил ее:

– О чем вы так грустите?

– О том, я думаю, о чем и вы: о здоровья.

Я не удовольствовался ее ответом и, немного помолчав, сказал ей: «Здоровье ваше обновляется, да о здоровья так и не грустят, как вы грустите».

– Да, это правда, – сказала она и закрыла глаза рукою.

Служитель опять загнал нас в палаты.

Несколько дней сряду шел дождь. И я скучал, не видя моей знакомой незнакомки. Наконец дождик перестал, и нас опять выпустили в сад. Я прямо пошел к скамейке, и, к удивлению моему, на скамейке уже сидела моя грустная знакомка. Я ей поклонился, она мне тоже, с едва заметною, но такую грустною улыбкой, что я чуть было не заплакал.

– Вы, должно быть, страшно несчастны? – сказал я ей, садясь на скамейку.

– А вы счастливы? – спросила она, взглянувши на меня так выразительно, что я затрепетал. И, придя в себя, взглянул на нее, а она все еще смотрела на меня с прежним выражением.

– Всмотритесь в меня, – сказала она.

Я силился посмотреть на нее, но не мог вынести устремленного на меня взгляда ее глубоко впалых больших черных очей.

– Неужели вы меня не узнаете? – спросила она едва внятным шепотом.

– Не узнаю, – ответил я.

– Так я, должно быть, страшно переменилась? – И, немного помолчав, сказала:

– Ну, так вспомните Качановку и 23 апреля 18... года<sup>73</sup>. Что, вспомнили?

– Боже мой! неужели это вы, m-lle Тарасевич<sup>74</sup>?

– Я, – едва она проговорила и залилася горькими слезами.

На другой день мы снова с нею встретились у заветной скамейки, и она мне рассказала свою грустную историю.

Я и без того писать или выражать свои мысли на бумаге не мастер, а как буду пускаться в отвлеченности да в отступления, то письму моему и конца не будет. Но гнусная история, которую мне про себя рассказала бедная m[-lle] Тарасевич, должна заставить и немного говорить, и глухого слушать.

О, если бы я имел великое искусство писать! Я написал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в с. Качановке.

Не помню, в какой именно книге я начитал такое изречение, что если мы видим подлеца и не показываем на его пальцами, то и мы почти такие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, что правда!

С этого я и рассказываю вам историю m[-lle] Тарасевич и качановского пана. А вы с нею что хотите, то и делайте. А если напечатаете, то это будет самое лучшее. Только перепишите ее по-своему, потому что у меня складу недостает.

Была у нас помещица П[рилуцкого] уезда, богатая помещица, душ около 4000, бездетная вдова, старушка, добрая такая, благочестивая, да Бог ее знает, что ей вздумалось: раз поехала

---

<sup>73</sup> Хазяїн Качанівки Григорій Тарновський відзначав свої іменини на «теплого Юрія» – 23 квітня (6 травня).

<sup>74</sup> Прототипом цього образу могла бути племінниця Тарновського Марія Степанівна Кржисевич (уроджена Задорожна) (1824 – 1905).

она в Киев на поклонение да и вышла замуж за молодого человека, красавца собою, некоего г. Арновского<sup>75</sup>. (Она, может быть, бедная, в годах заматерелая, о наследнике чаяла, — не знаю.) И сказано: человек из ума выжил — передала все свое имение, вместе с собою, в руки молодого красавца мужа. А он, не будучи дураком, повернул все по-своему. И то правда, ведь не на старухе же он женился, а на ее деревнях. Кроме разных улучшений по имению, от которых мужички запищали, он завел у себя оркестр (это прекрасно), сначала наемный, а потом и крепостной. Выстроил великолепный театр. Выписал артистов. И завел театральную школу, разумеется, крепостную. Пирам и банкетам конца не было. Старушка была в восторге от своего молодого мужа. Когда же собственные актрисы подросли и начали уже играть роли любовниц и одалисок, то он, смотря по возрасту и наружным качествам, учредил из [них] гарем на манер турецкого султана. Разумеется, подобное заведение в тайне не могло процветать, только странно, что последняя об нем узнала старуха жена. А узнавши все это, занемогла, бедная, от ревности и вскоре Богу душу отослала. На смертном одре она простила своего вероломного мужа и со слезами просила его исполнить ее последнюю волю, т. е. положить капитал в банк и на проценты его воспитывать трех сирот-девиц в Полтавском институте. Он, разумеется, поклялся в точности исполнить волю умирающей.

Он ее и исполнил, да только по-своему.

После смерти жены его выбрали предводителем дворянства<sup>76</sup>, как человека достойного и благонамеренного. Он тут же у себя в уезде нашел не трех, а пять сироток и завел у себя в селе благородный пансион. Нанял учителя, какого-то отставного поручика, и гувернантку без аттестата, а главный надзор за нравственностью воспитанниц поручил сестре своей, грязной и красноносой старухе.

Когда сиротки стали подрастать, то им, кроме русской грамоты, стали преподавать и изящные искусства, то есть пение, музыку (игру на гитаре), танцы и сценическое искусство. И все это, разумеется, свои же крепостные наставники и наставницы.

В число этих-то несчастных воспитанниц попала и m[-lle] Тарасевич. Когда они уже порядочно подросли, то, которые покрасивее были, сделались, по ходатайству главной надзирательницы, украшением гарема — не как рабыни, а как благородные султанши. M[-lle] Тарасевич хотя была и красивее всех их, умнее и благороднее, а главное, была тощенькая и потому-то не обратила на себя ласкового султанского взора. Не завидовала своим счастливым подругам (потому что они и на балах являлись и танцевали, и на театре являлись перед многочисленными гостями, разумеется, с крепостными артистами; да и в самом деле, не образов[ыв]ать же для них сироток-мальчиков благородного происхождения). Она, бедная, ничему этому не завидовала. А возьмет, бывало, себе потихоньку какой-нибудь роман из библиотеки да спрячется где-нибудь в саду, читает его да плачет. Так она прочитала все романы, какие только были в библиотеке, и вышло то, что она не знала, что с собою делать; пуще прежнего похудела, — так и думали все, что умрет. Уже и в постель было слегла, на ладан, как говорят, дышала. Уже (поверите ли) и крест намогильный сделали, хотели было и гроб делать, да боялись, чтобы не укоротить, потому что люди, когда умирают, то, говорят, вытягиваются. А крест сделали сажени в две вышины, дубовый; выкрасил его домашний живописец зеленою краскою и на одной стороне намалевал распятие, а на другой скорбящую Божию мать. А внизу прибил железную доску и написал на ней: «Здесь покоится раба Божия Мария Тарасевич, воспитанница г. Арновского, скончавшаяся 18... года, ...месяца, ...числа». Только случилось так, что она выздоровела, а умерла любимая горничная сестры г. Арновского. И умерла, говорят, не своею смертью. Она гладила утюгом своей барыне платье в воскресенье, да немного опоздала: уже во все колокола прозвонили, а платье не было готово. Вот барыня рассердилась, выхва-

<sup>75</sup> Прототипом цього образу був Григорій Степанович Тарновський (1784 – 1853) – український поміщик і меценат.

<sup>76</sup> Григорій Тарновський був обраний предводителем дворянства Борзнянського повіту Чернігівської губернії в 1831 р.

тила у нее из рук утюг да и хватать ее нечаянно по голове так, что та, бедная, тут же и ноги протянула. Правда ли, нет ли, наверное не знаю. А крест я сам собственными глазами видел и надпись читал. И, знаете ли, такой крест – это своего рода картина, особенно на убогом сельском кладбище, где все крестики Бог знает какие: то пошатнувшиеся, а то и совсем упавшие, а то и просто десяток-другой могил совсем без крестов. А тут вдруг фигура, да еще и какая фигура! Я думаю, г. Арновский сам рассчитывал на этот эффект: смотрите, дискать, как мы своих воспитанниц хороним! А вышло, что похоронили не воспитанницу, а горничную. Ну, да это все равно, лишь бы крест даром не пропал.

– Музыкантская была в одном флигеле с нашим пансионом, – так продолжала свой рассказ больная. – И когда я начала выздоравливать и понимать себя, то мне чрезвычайно приятно было слушать, когда они сыграваются. Моему больному воображению представлялся какой-то необыкновенно чудный мир, особенно, когда весь оркестр, как лес или море вдаль, шумит, и из этого неопределенного ропота выходит какой-нибудь один инструмент, скрипка или флейта. О! я тогда была выше всякого блаженства. Звуки эти мне казались чистейшею, отраднейшею молитвою, выходящей из глубины страдающей души. О, зачем я выздоровела, зачем навеки не осталась в том болезненно-блаженном состоянии!

В доме было прекрасное фортепьяно, и когда я могла уже выходить, то пошла прямо к нашему капельмейстеру и просила его, чтобы он меня научил читать ноты и показал первые приемы на фортепьяно. Он... О, я давно прокляла его за науку! Зачем открыл он мне тайну сочетания звуков, зачем открыл мне эту божественную, погубившую меня гармонию!

Я быстро поглощала его первые уроки. Так что не успели у меня на вершок волосы отрасти (я больна была горячкой), как я уже быстрее его читала ноты и вырабатывала свои пальцы на сухих этюдах Листа<sup>77</sup>.

Но не одни звуки питали мое больное сердце. Мне нравилась сцена. Я прочитала все, что было в нашей библиотеке драматического (репертуар нашего домашнего театра мне не нравился), начиная с «Синеуса и Трувора» Сумарокова<sup>78</sup> до «Гамлета» Висковатова<sup>79</sup>. Я дни и ночи бредила Офелией. А делать было нечего: я для своего дебюта принуждена была выучить роль дочери Льва Гурыча Синичкина<sup>80</sup>. Успех был полный. И я окончательно погибла!

Когда видели вы меня в Качановке, я уже тогда бредила петербургской сценой; домашняя для меня была слишком тесна. На несчастье мое, того же лета заехал к нам Михайло Иванович Глинка<sup>81</sup>. Он тогда выбирал в Малороссии певчих для придворной капеллы.

Увидевши меня на сцене и услышавши мой голос и игру на фортепьяно, он решил, что я великая артистка. А я – о горе! мое горе! – я простосердечно ему поверила. Да и кто бы не поверил на моем месте?

Не заметили ли вы тогда у нас на бале молодого, весьма скромного человека, с большими выпуклыми глазами, со вздернутым носом и большим ртом? Это был художник Штернберг. Он тогда у нас все лето провел.

Кроткое, благороднейшее создание!

Однажды я (мне аккомпанировал сам Глинка) пела для гостей из его еще не оконченной тогда оперы «Руслан и Людмила» арию, помните, в чертогах Черномора поет Людмила<sup>82</sup>?

<sup>77</sup> Ференц Лист (1811 – 1886) – угорский композитор, диригент, педагог, найбільший піаніст-віртуоз XIX ст.

<sup>78</sup> Шевченко має на думці трагедію «Синав и Трувор» (1750) російського поета й драматурга Олександра Петровича Сумарокова (1717 – 1777).

<sup>79</sup> Ідеться про здійснений російським письменником і перекладачем Степаном Івановичем Вісковатовим (1786 – 1831) переклад французької адаптації шекспірівського «Гамлета» пера Жана Франсуа Дюссі (1733 – 1816).

<sup>80</sup> Ідеться про водевіль російського письменника й актора Дмитра Тимофійовича Ленського (1805 – 1860) «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» (1840).

<sup>81</sup> Тобто влітку 1838 р.

<sup>82</sup> Арія Людмили з четвертої дії опери «Руслан и Людмила» була написана пізніше – у 1841 р.

Только что я кончила петь, посыпались аплодисменты, разумеется, не мне, а автору. А когда все замолкло, подходит ко мне Штернберг со слезами на глазах и молча целует мои руки. Я тоже заплакала и вышла вон из залы. С тех пор мы с ним сделались друзьями. Я часто для него в сумерки пела любимую его арию из «Прециозы». И он каждый раз, слушая меня, плакал.

Спустя два года после моих успехов в Качановке г. Арновский со своею сестрицею начали собираться в Петербург на зиму. Я, разумеется, начала проситься с ними. Они долго не соглашались. Наконец, он согласился с условием. Но с каким условием! Вы понимаете меня?? Да! понимаете! И знаете что? Я согласилась! О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я все забыла для искусства и для столицы, все! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы! – нищая! в больнице и вдобавок под именем его крепостной девки.

Она за слезами не могла говорить.

На другой день я услышал от нее подробности такого рода. Впрочем, они так гнусны, что гнусно их и повторять.

Скажу вам вкратце конец ее бедственной истории. Приехала она в Петербург уже беременною и через несколько месяцев, не выходя из квартиры, разрешилась мертвым ребенком. После родов заболела горячкой. А г. Арновскому нужно было ехать в свою Качановку, вот он ее и отправил в Петровскую больницу под именем своей крепостной девки.

Вот вам и вся недолга.

Я пробыл еще две недели в больнице и каждый день, в урочные часы, выходил в сад, и садился на заветную скамейку, и дожидался несчастной больной.

Какой же в самом деле подлый эгоист человек вообще, а в особенности я. Мне стало на душе легче, я видимо стал поправляться после ее исповеди. Это значит, я доволен был, что есть несчастнее меня.

Страдалцы! воображайте так, и вы будете хоть на полграна менее страдать.

Я каждый день спрашивал у знакомого мне служителя из женского отделения: «Что № такой-то?» И он отвечал мне совершенно равнодушно: «Лежит». За день перед моей выпиской из больницы спросил я у служителя: «Что № такой-то?» – «В покойницкой!» – ответил он мне и пошел за своим делом, быть может, за длинною плетеною корзиною, вроде гроба, чтобы другого уже нестрадалца вынести в покойницкую.

На другой день, выписавшись из больницы, я просил позволения похоронить труп такой-то №, такого-то. И мне было позволено.

Я пригласил своих товарищей. (Вы помните, что нас было четверо привезено в Петербург, т. е. квартет.) И мы вынесли ее на Смоленское кладбище<sup>83</sup>. А после панихиды пропели «Со святыми упокой» да бросили земли по горсти в ее вечное жилище, и больше ничего.

Вскоре после этого прислал нам управляющий именем плакатные билеты<sup>84</sup>, и мы остались еще на год в Петербурге. И знаете, что мы сделали? Прикинулись немцами да и пошли по улицам спотешать добрых людей своим искусством. И знаете, нам хорошо было, мы почти что каждый [день?] по рублю серебра домой приносили.

За исключением харчей и квартиры, я каждое воскресенье получал рубль серебра. И каждую неделю я был два-три раза в театре (разумеется, в райке), откладывая каждую неделю полтину серебра на непредвиденный случай, т. е. для Серве. Т. е. приобрести несколько его этюдов для виолончеля. А главное, самого его послушать. В газетах давно уже публикуют, что он непременно будет к Великому посту в Петербурге. Дай-то Бог. Мне как-то страшно становится, когда я подумаю, что я буду слушать Серве. Неужели слава так могущественна?

---

<sup>83</sup> Смоленське кладовище було засноване згідно з указом Сенату на Васильєвському острові в 1756 р. Свою назву отримало, очевидно, від храму на честь смоленської ікони Божої Матері.

<sup>84</sup> Плакатний білет, чи плакат, – тимчасовий паспорт для людей податного стану в Російській імперії.

Приближается зима, и наши уличные квартеты должны будут прекратиться. Что нам делать? Товарищи мои хотят бросить искусство и искать лакейских должностей. А мне бы хотелось удержать их от этого соблазна. Да как удержать?

С этой благой мыслию пошел [я] однажды на Крестовский остров<sup>85</sup> в немецкий трактир, поговорил с хозяином, что так и так, есть у меня квартет богемцев, можно ли им будет прийти в воскресенье попробовать счастья в вашем заведении? Хозяин согласился. И мы в первое же воскресенье спотешали вальсами почтеннейшую публику, как истинные чехи. И спотешали не без пользы. Мы в один день достали себе пропитание на целую [неделю] с избытком. Товарищи мои ободрились. Следующее воскресенье нам еще лучше повезло. А следующее еще лучше, потому что уже настала настоящая зима.

Тут же, в трактире, мы стали получать заказы через содержателя трактира на вечеринки, на свадьбы и т[ому] подоб[ное]. Товарищи выбрали меня подрядчиком и казначеем. И мы зиму прожили припеваючи.

С Песков<sup>86</sup> мы перебрались к Николе Мокрому<sup>87</sup>. Квартира у нас была уже не одна маленькая комнатка, а две большие с прихожей.

В свободное время, в продолжение зимы, я проштудировал всего Ромберга<sup>88</sup> и Серве, что мог достать. Большой театр<sup>89</sup> посещал я постоянно два и три раза в неделю, и хоть из райка, а я видел и слышал все, что было лучшего в ту зиму в столице.

Прошла наконец и бешеная Масляница. Прошла и первая неделя Великого поста.

О незабвенная афиша!

Надо вам сказать, что я часто делал большой крюк, чтобы пройти мимо которого-нибудь театра, собственно для того, чтобы прочитать афишу.

В воскресенье был я на соборном проклятии в Казанском соборе<sup>90</sup>. Вышел из церкви, перехожу Невский проспект. И издали вижу, что что-то белеет за проволочной решеточкой у подъезда дома г[оспожи] Энгельгардт<sup>91</sup>. Я прибавил шагу. Подхожу к подъезду или, лучше, к проволочному ящику, и мне показалось, что я вижу самого Серве и Вьетана<sup>92</sup>. А это были только буквы. Долго я читал эти заветные буквы, пока добрался до настоящего их смысла. А смысл был такой, что Серве дает концерт сегодняшний же день. Начало в 7 часов вечера. Я сейчас же купил билет. И целый день ходил по Невскому проспекту, заходя иногда к Александринскому<sup>93</sup> и Михайловскому<sup>94</sup> театру прочитать афишу.

В 6 часов вечера я уже был в зале. Зала уже была вполовину освещена, и я вошел в нее первый. Швейцар, впуская меня в залу, сначала пристально осмотрел меня с ног до головы.

<sup>85</sup> Крестовський острів – острів у західній частині Санкт-Петербурга, у дельті Неви.

<sup>86</sup> Піски – історична назва місцевості, розташованої в центрі Санкт-Петербурга між Невою, Невським та Ліговським проспектами, по обидва боки від Суворовського проспекту.

<sup>87</sup> Ідеться про Нікольський морський собор на Нікольській площі в одному з центральних районів Петербурга – Казанській частині (відомий під іменем Миколи Морського, чи Миколи Мокрого). Побудований у 1753 – 1762 рр. учнем Растреллі Савою Івановичем Чевакинським.

<sup>88</sup> Очевидно, ідеться про «Школу для віолончелі» («Methode de violoncelle») (1840) німецького віолончеліста й композитора Бернгардта Гайнріха Ромберга (1770 – 1841).

<sup>89</sup> Великий (Кам'яний) театр – найстаріший постійний театр Санкт-Петербурга, відкритий у 1783 р.

<sup>90</sup> Казанський собор у Санкт-Петербурзі – монументальна пам'ятка архітектури російського класицизму. Побудований у 1801 – 1811 рр. архітектором Андрієм Никифоровичем Вороніхіним (1759 – 1814). Соборне прокляття – церковний обряд, який відправлявся під час однієї з неділь Великого посту.

<sup>91</sup> Ідеться про будинок Енгельгардта на Невському проспекті (№ 30/16), який належав Ользі Михайлівні Енгельгардт (уродженій Кусовникової). З початку XIX ст. тут відбувалися концерти Санкт-Петербурзького філармонічного товариства.

<sup>92</sup> Анрі В'єтан (1820 – 1881) – бельгійський скрипаль і композитор. З 1846 р. жив і працював у Санкт-Петербурзі як соліст імператорських театрів.

<sup>93</sup> Александринський театр – найстаріший драматичний театр Росії, створений у 1756 р. Александринським став називатися з 1832 р. на честь імператриці Олександри Федорівни.

<sup>94</sup> Михайлівський театр – театр опери й балету в Санкт-Петербурзі, відкритий у 1833 р.

Потому, вероятно, что я вовсе не был похож на человека, для которого 5-рублевая депозитка ничего не значит. Ну, да Бог с ним, пускай думает, что хочет.

Публика начала собираться, и к половине седьмого зала уже была полна. Меня пронимала дрожь. Но когда кто-то около меня сказал: «Уж семь часов», – я затрепетал, а сердце у меня обдалось каким-то холодом. Как будто в одно мгновение теплая кровь оставила его и вместо крови потекла холодная вода.

Увертюра кончилась, которую я не слушал. Оркестр отдохнул. Поправился. И через несколько мгновений выходит Серве и за ним Вьетан.

Боже мой! я не слышал да и не услышу никогда ничего прекраснее!

Лист перед Серве – фанфарон, простой механик, ремесленник перед художником, больше ничего.

Я смутно помню, как я вышел из зала. И как пришел домой. Помню только, что товарищи отняли у меня виолончель и спрятали.

С того вечера я уже не беру виолончеля в руки и звуков его слышать не могу. Для меня это все равно, что ножом по сердцу.

[В] продолжение поста я читал только афиши. И только раз был в Большом театре, когда давали ораторию Гайдна «Сотворение мира»<sup>95</sup>. Это истинное сотворение мира. Только для Большого театра слишком громко: трудно слушать. Тут нужно по крайней мере Михайловский манеж<sup>96</sup>.

Еще давали концерт в Патриотическом институте<sup>97</sup>, в котором участвовал, между многими знаменитостями, и граф Вельегорский<sup>98</sup>.

Чего бы я не отдал, чтоб послушать его! Но, увы! свет сей не для всех равно создан!

Как раз в Великую субботу позвали нас всех четырех в часть и объявили нам, что помещик требует нас к себе в деревню и чтобы мы приготовились к следующей среде выступить в поход с севастопольской партией.

К среде мы были совершенно готовы. И рано утром в среду вышли за толпою колодников из ворот Литовского замка<sup>99</sup> с инструментами за плечами и грустно, молча потянулись к московской заставе<sup>100</sup>.

Не описываю вам путешествия нашего, потому что оно нестерпимо однообразно и отвратительно гнусно.

На третий месяц нашего путешествия с толпою злодеев мы прибыли, наконец, в Прилуку.

Странное и страшное чувство обуяло меня при виде родного места.

Я долго не решался послать из острога к нашему доброму Ивану Максимовичу. Наконец, через великую силу превозмог ложный стыд и страх и послал за ним тюремного служителя. Через полчаса явился Иван Максимович и взял меня на поруки.

В продолжение целой ночи мы глаз не смыкали, сообщаясь друг другу, как родные братья после долгой разлуки. Между прочими новостями он мне сообщил, что промотанное и разоренное имение покойного г. купил с публичного торгу г. Арновский, и что хотел было взять

---

<sup>95</sup> Идетсья про ораторію «Створення світу» австрійського композитора Франца Йозефа Гайдна (1732 – 1809), написану 1798 р. за сюжетом поеми Джона Мільтона «Втрачений рай».

<sup>96</sup> Михайлівський манеж – найбільший манеж Санкт-Петербурга, побудований у 1798 – 1801 рр.

<sup>97</sup> Идетсья про імператорський Патріотичний інститут, заснований Санкт-Петербурзьким жіночим патріотичним товариством у 1822 р. на базі Училища жінок-сиріт 1812 р. Містився на Десятій лінії Васильєвського острова.

<sup>98</sup> Идетсья про графа Матвія Юрійовича Віельгорського (1787 – 1863), який був блискучим віолончелістом, учнем Ромберга.

<sup>99</sup> Литовський замок – в'язниця в Санкт-Петербурзі, в окрузі Коломна, на перетині Мойки й Крюкового каналу.

<sup>100</sup> Московська застава – історична назва північної частини сучасного Московського р-ну Санкт-Петербурга. Назва походить від застави, яка була на перетині Московського тракту й Ліговського каналу.

Лизу и Наташу к себе на воспитание, но Антон Адамович отдал только Лизу, а Наташу у себя оставил, и что m-lle Адольфина оставила их вместе с Лизою.

На другой день я оставил Прилуку и ночевал на ферме. На ферме все, как было и прежде, только Лизы и m-lle Адольфины недостает. А хозяйева ее, кажется, и помолодели, и подобрели.

Солнце уже спускалось за горизонт, когда я подходил к ферме. Мужички, попадавшие мне около села, приветствуя меня с добрым вечером, посматривали на меня и, снявши шапки, крестились. Меня это немало удивляло.

«Что бы такое значило, что они крестятся?» – спрашивал я сам у себя, входя в село. Играющие на улице дети, завидя меня, бросали игры и, остановясь около хаты, молча посматривали на меня, а которые были постарше, те крестились. Я хотел было подойти к ним и узнать причину благоговения к моей особе, но дети разбежались.

Я пошел далее, и уже на гребле попалась мне навстречу старушка и, перекрестясь, остановила и спросила у меня:

– Куда же вы гробык несете? У Дигтярях священник умер, поховать никому буде, бо нового попа еще не прислано.

Тут-то я только догадался, что они скрипичный ящик мой принимали за детский гроб.

Подойдя к самым воротам сада, я остановился в раздумьи, заходить ли мне к ним или пройти мимо. И только было решился на последнее, как послышался мне детский голос в саду. Это был голос Наташи. Я отворил ворота, но войти в сад все еще как бы боялся. Только Наташа, увидя меня, закричала:

– Мамо! мамо! Нищий пришел! (Марьяну Акимовну она мамою звала).

– Где ты видишь нищего? – спросила ее Марьяна Акимовна, выходя из-за дерева.

– Он за воротами. – И они подошли ко мне на несколько шагов. И Наташа бросилась ко мне, крича:

– Мамо! мамо! Это не нищий, это наш Тарас Федорович!

Меня и в самом деле немудрено было принять за нищего: оборванный, запыленный, с палкою в руке и с ящиком за плечами. Марьяна Акимовна подошла ко мне, посмотрела на меня, взяла меня за руку, сказавши: «Войдите», – и заплакала. У меня ноги подкосились, и я упал на землю и зарыдал, как дитя. Наташа побежала за Антоном Адамовичем, и через несколько минут мы уже все трое шли к дому и все трое плакали. Наташа тоже плакала, разумеется, бессознательно. Впрочем, ей уже 12 год.

И что это за дитя, если б посмотрели! Это такая красота, такая детская прелесть, какой мне не удавалось видеть даже на картинах.

Подходя к дому, Антон Адамович почти что вырвал меня из рук Марьяны Акимовны и повел в свою хату.

– Подождите меня здесь, – сказал он мне, сажая меня на стул в своей хате. – Я сию же минуту, – прибавил он уже за дверью.

В хате его было все по-прежнему, даже запах, воздух был прежний, и мне казалось, что я вчера только вышел из этой комнаты.

Через минуту вошел мальчик с умывальником и бельем, а за ним и сам Антон Адамыч, неся в руках свое серенькое пальто и прочие принадлежности туалета.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.